

Борис  
ХАЗАНОВ

К северу от будущего  
*русско-немецкий роман*



ImWerdenVerlag  
München 2005



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Время и т. д. ....	5
2. Танец. Ирина, что означает: мир.....	6
3. Приказ есть приказ.....	9
4. Экспозиция: Alma mater.....	10
5. Конец поэзии, или ратоборство певцов в крепости Вартбург.....	11
6. Дом привидений.....	13
7. Гостя «оттуда».....	14
8. Ира у балюстрады.....	18
9. Новое в теории электромагнитных полей.....	19
10. Впрочем, не такое уж новое.....	20
11. Шествие Марика Пожарского по ночному городу.....	22
12. Вождь в двенадцать часов ночи.....	24
13. Интермедия в костюмах эпохи.....	25
14. Words, words, words.....	27
15. Обсуждение.....	29
16. Эпоха персональных дел.....	30
17. Диспут на рискованную тему.....	32
18. Eritis sicut Deus. Разговор Асмодея с учеником.....	33
19. Картофель Третьего Завета.....	34
20. Гром победы.....	36
21. Родословное древо корнями вверх.....	38
22. Разломы.....	40
23. Фараон.....	41
24. Дивертисмент. Другая жизнь.....	43
25. Приключения в загородном доме.....	44
26. Принцип краеугольной беззаботности.....	46
27. Уходя от нас. Полотняный эпос.....	47
28. Провожание и обмен мнениями.....	49

29. О чём горюет Гоголь.....	52
30. Марик Пожарский решился на отважный поступок .....	53
31. Только слышно на улице где-то.....	54
32. Harry end.....	55
33. Ремонт. Мы не от старости умрём .....	57
34. Ремонт. Девочка ничего себе .....	58
35. Атака.....	59
36. Трое на льдине .....	60
37. Интермедия в костюмах эпохи: Тристан .....	62
38. Иов на зарплате .....	63
39. Свидание.....	65
40. Девушка новой генерации .....	66
41. Беседа за круглым столом .....	67
42. Не вполне патриотические темы .....	70
43. Танго. Марик Пожарский знакомится с реальной действительностью .....	71
44. Облик женщины.....	74
45. Нечто непредусмотренное.....	75
46. Забытый брат, или радости сельской жизни .....	77
47. Некто Геннадий .....	79
48. Товарищ Данцигер .....	80
49. О чём он думал. О чём вообще думают люди.....	83
50. И наших песен звонкие слова.....	84
51. Загадочный разговор в номере гостиницы «Метрополь».....	87
52. Гостиница, продолжение .....	89
53. Враги.....	91
54. Взмахнуть, и... ..	94
55. Ночь. Университет.....	95
56. Заговор женщин .....	97
58. Марик Пожарский постигает то, чего он не мог постичь: истину .....	98
Эпикриз .....	101
Послесловие автора .....	110

In den Flüssen nördlich der Zukunft  
werf ' ich das Netz aus, das du  
zögernd beschwerst mit von Steinen  
geschriebenen Schatten.

Paul Celan <sup>1</sup>

## 1. Время и т. д.

Поздно вечером 30 января 1945 года с командного мостика подводной лодки «С-13» были замечены огни пассажирского судна. Пароход «Вильгельм Густлофф», шедший с десятью тысячами беженцев из отрезанной Восточной Пруссии, шестипалубный, длиной несколько больше двухсот метров и водоизмещением 25 тысяч тонн, до войны принадлежал национал-социалистической организации «Сила через радость», потом был переоборудован под плавучий госпиталь, а позднее использовался как транспортный корабль. Посадка происходила накануне, толпы беженцев запрудили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из освобождённой от льда акватории порта; в открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан приказал не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. Погоня продолжалась тридцать минут. Пароход был потоплен тремя торпедами. Утонуло 8800 человек, что представляло собой своеобразный рекорд. Недостатком субмарин класса «С-13» было слишком продолжительное время погружения. Уходящую лодку настигли глубинные бомбы эскадренного миноносца «Лев». Лодка опустилась на дно, где уже лежал «Густлофф». Немецкие спасательные суда смогли увезти 900 человек. Перед рассветом патрульный катер VP 1703 обнаружил на месте гибели, среди плавающих трупов и обломков корабля, шлюпку с двумя мёртвыми женщинами и годовалым ребёнком. Мальчик был жив, его усыновил матрос катера.

Вахтенный офицер Юрий Иванов не помнил, как был выловлен из ледяной воды. Он был доставлен в порт Эльбинг, куда только что вступили наши передовые части, был наскоро оперирован и отправлен в глубокий тыл в одном из переполненных санитарных эшелонов, которые шли друг за другом из Пруссии и Прибалтики.

Ему было 22 года. Конкурс не был препятствием для него как для участника Отечественной войны, не говоря о том, что на десять девушек, подавших заявление, приходился один мужчина. Когда девица в треугольной причёске с коком над круглым лобиком, в платье в крупных розовых цветах из крепдешина, с глубоким вырезом и квадратными накладными плечами, гордая своими общественными полномочиями, вышла со списком, чтобы выкликнуть его фамилию, у дверей топтался ещё один пред-

---

<sup>1</sup> На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, колеблясь, ты наполняешь её грузом теней, что написали камни. *Пауль Целан.*

ставитель дефицитного пола – юнец в курточке и коротковатых брючках, очевидно, медалист. Это было собеседование с поступающими без экзаменов. Иванов (с ударением на втором слого, чему он придавал особое значение; все, однако, говорили: Иванóв) вошёл в аудиторию, где сидела приёмная комиссия: парторг факультета, женщина, заполнявшая бумаги, и старец в полотняном пиджачке и академической шапочке. Иванов шагал, опираясь на палку, переставляя искусственную ногу, глядя прямо перед собой, бледный, огненно-рыжий, казавшийся старше своих лет, в пенсне – кто тогда носил пенсне? – и с планкой орденов на тёмносинем в полоску пиджачке, который стоял на нём несколько колóм, подошёл к столу и сел, словно ударился о стул. Ему был задан школьный вопрос; старец в ермолке мягко осведомился, что побудило его выбрать филологический факультет. Собеседование было закончено, неделей позже, в последних числах августа, он увидел своё имя на доске в списке принятых.

Удивительно, сколько событий уместилось в какие-нибудь шесть или семь месяцев. Кто не помнит этот год? Или, лучше сказать, кто его ещё помнит. То, что называют историей, вновь, как в древности, стало жанром литературы и усвоило все её сомнительные черты. Время, о котором идёт речь, – время не то чтобы баснословное, но такое, о котором не так-то просто вести рассказ. Парадокс недавней истории в том, что она куда менее надёжна, чем история далёкого прошлого. Даже то счастливое обстоятельство, что ты был её очевидцем, не спасает дела. Угли ещё тлеют под золой. Ты помнишь всё. И, однако, невозможно избавиться от чувства, что главное и существенное от тебя ускользает. Глядя на фотографии и документы, убеждаешься, что они лгут. Но ведь в этом и состоит их своеобразная достоверность, ибо таков их способ говорить правду. Это было время, когда вино победы кружило голову всем. Армия, словно изувеченный богатырь, с расколотым щитом, с головой в запекшейся крови, волоча за собой ногу, настигла уползающего дракона в его убежище и едва не испустила дух вместе с ним. Ещё не существовало телевидения – одно из немногих преимуществ этого времени. Зрители видели в кинотеатрах хронику подвигов и завоеваний, видели документальный фильм о параде победы, блестящую от дождя брусчатку Красной площади, маршала в орденах на белом коне и Вождя на трибуне, слышали гром оркестров и крики команд. Никому не приходило в голову, что это – победа, от которой никогда уже не удастся оправиться.

Как обломки корабля, вещи и детские игрушки на поверхности взбудораженных вод, дошли до нас реликвии этой эпохи. Маячит память о молодых людях, о тех, кто едва успел перешагнуть из детства в юность, кто ничего не достиг. Одинокие, они радовались, как несмышлёныши, залпам салютов и фейерверкам, были счастливы, что остались в живых, что война не успела до них добраться, сделать их обрубками, обжечь и обезобразить лицо. И лишь много позже догадались, в чём не могло признать себе поколение отцов: что разгром и опустошение были расплатой за этот триумф, опустошение и разгром, каких не знали за тысячу лет. Ибо история одурачивает всех.

Победителей не судят. Победитель сам себя судит.

## 2. Танец. Ирина, что означает: мир

На всех трёх этажах Нового здания, сооружённого после пожара 1812 года, – с тех пор оно так и называлось, Новое, – гремела музыка, оркестранты дули в трубы, сидя над парадной лестницей у балюстрады, между двумя циклопическими гипсовыми кумирами, еще один оркестр помещался наверху, под стеклянной крышей, и пов-

сюду, на галереях и в коридорах, топтались, раскачивались, крутились, задевая друг друга, пары, девушка с девушкой, воя пёстрыми шёлковыми платьями вокруг бёдер; явившиеся откуда-то полуподружки нестуденческого вида, кучкой, руки в карманах, «Беломор» в зубах, не решались разбить девичьи пары; кое-кто, впрочем, осмелев, развязно приближался к танцующим, хрипло выдавливал из себя: «Разрешите?..» и со стыдом, не удостоившись ответа, удалялся; морячок в подпрыгивающей пелерине изумлял широченными клёшами, рассекал нагретый воздух, облапив крошечную партнёршу; треск барабана, гром тарелок и кряканье генерал-баса, шорох девичьих ног в полуботинках на толстой подошве, называемых танкетками, – истинно военная метафора! – аромат дешёвых духов, пота, обещания, – краковяк, фокстрот, па-д’эспань, венгерка – всё смешалось, все танцовалось на один манер, словно все объяснялись друг другу в любви на едином стандартном и общеобязательном наречии.

Прислонившись к колонне, выкрашенной под мрамор, в позе денди, в своём всё ещё новом костюме в полоску, в пенсне и при галстукке, студент первого курса Юрий Иванов цедил слова, глядя поверх толпы, из-за воя труб ничего не было слышно. Собеседница скучала, поглядывала по сторонам; этикет запрещал ей самой приглашать кавалера. Может ли он вообще? Наконец, она решилась. «Потанцуем?..» – спросила она уныло и тотчас раскаялась: в глазах Иванова мелькнула растерянность, он мужественно задрал подбородок, сверкнул стёклышками пенсне. Труба уже повела свой томительно-счастливый рассказ. Иванов стоял, слегка расставив ноги в прямых широких брюках, палка повисла в его руке. Она хотела взять у него палку. Он переложил палку в левую руку. Из медных жёрл выплёскивалась грубая радость оставшихся в живых. Музыка заглушала голоса, и это было благословением, не надо было разговаривать, ненужные, вымученные реплики заменил диалог движений, шаг вперед, шаг назад, пароль и отзыв, переключка тел. Вокруг всё качалось и колыхалось. Они выбрались из сутолоки в уголок, где было свободней. Роли переменились. Девушка почувствовала себя рулевым, он охотно принял обязанности матроса, танец раскачивал их, словно на палубе, оба прониклись серьёзностью, оба почувствовали облегчение, как актёры, которые поняли, чего хочет от них режиссёр; роли давали возможность найти своё место в сложном спектакле бала. «Вот так», – сказала она и показала, как правильно взять партнёршу за талию; он послушно обхватил её левой рукой, не выпуская палку, стараясь держаться на некотором расстоянии от её живота и груди. Она положила руку ему на плечо. Загнутая рукоятка трости слегка давила её между лопатками. Держа в правой ладони его ладонь, она решительно правила; оба смотрели вниз, она на его ноги, он на спускающиеся к плечам, тщательно расчёсанные тёмнозолотистые волосы. Иванов переставлял ногу, стараясь приноровиться к шажкам партнёрши; так они протанцовали, вернее, прошагали под музыку несколько метров туда и сюда, меняя направление, как меняют галс корабля. Видимо, кавалеру было труднее двигаться задом наперёд, и она стала вести его на себя, что в общем-то отвечало правилам танца; и он заметил, что, не отказываясь от обязанностей водительницы, она осторожно и, может быть, бессознательно навязывает ему другую роль, предписанную ритуалом, роль атакующей стороны. Теперь танец сам вел их. Сама собой его здоровая нога, таща другую ногу, поспешила за отбегающей партнёршей, так что оба чуть было не потеряли равновесие, но в последний момент Ира, Ирина, – так её звали, это открылось как-то само собой, – развернула резким, почти насильственным движением его и себя, и нога мужчины оказалась между её ногами; её пах под текучей одеждой скользнул под его бедром; оба остановились. Тяжело дыша, она отбежала к балюстраде. Иванов захромал следом за ней.

Народ спускался густой толпой по широкой лестнице, померкли матовые шары, музыканты укладывали в футляры свои инструменты, тромбонист, держа в руках половинки тромбона, вытряхивал, словно застрявшие ноты, капельки слюны, над аркой

входа, внизу, стрелки на светлом диске сошлись, как бы подводя итог, и гипсовые вож-ди над лестницей провожали праздник с высоты своих пьедесталов. Из толпы, осадившей гардероб, молодежь бросала на Иванова и его даму взгляды, в которых зависть смешивалась с сожалением. Девушки смотрели на человека в яркорыжей шевелюре, в стёклышках пенсне, с негнущейся ногой, который держал, расставив руки, лёгкое, должно быть, тряпичное, женское пальто. Его собственное пальто, перешитое из морской шинели, висело у него на локте. Им казалось, что она слишком уж медленно завязывает косынку на шее, насаживает на голову самодельную шляпку; им казалось, что всё это делается напоказ.

Девушки испытывали облегчение в толпе себе подобных, здесь не надо было вести себя по-особенному. Как если бы они всё ещё были в женской школе, вдали от наглых мальчишек; или сидели в зрительном зале, следя на экране за той, что была не лучше их, но у которой был какой ни есть кавалер; которая должна была кого-то изображать, перед кем-то позировать; и почти со злорадством они следили, как она неловко просовывает руки в рукава пальто.

Что же касается их собственных, малочисленных спутников, то они, эти хилые недоросли, спешащие повзрослеть, понимали, что их только терпят, за неимением лучшего. Да и танцевать они толком не умели, между тем как девушки словно владели этим искусством от рождения. Мальчики чувствовали себя брошенными на произвол судьбы посреди вертлявых, щебечущих существ в лёгких цветастых платьях, изнемогали от робости, страха и вожделения; хорошо вам, думал Марик Пожарский, тот самый юнец в курточке, который стоял в день собеседования у дверей приёмной комиссии, – вас много! И в самом деле, никогда ещё так близко не толкалось, не поворачивалось своими выпуклостями, источая запахи волос и духов, такое изобилие женского тела. Но стоило ему обратить взгляд на инвалида, стоявшего там, с палкой и пальто, как его осенила догадка: он вспомнил, что он здоров, молод и, кажется, не так уж уродлив, и ощутил себя владельцем лотерейного билета, который наверняка выиграет. Это было чувство счастливого ожидания и нерастраченного запаса – едва успевшего начаться бессмертия.

Тусклые лампочки подъезда посылали последнее напутствие уходящим, тёмносинее пахучее небо раскрылось над ними, неясной массой воздвигся монумент отца-основателя русской науки, впереди над тёмной кровлей Манежа, над купами Александровского сада взошли пурпурные звезды. Астрология будущего предстала перед девочками, прыгавшими с крыльца, и ребятами, которых отмена бального этикета лишила остатков инициативы: они шагали в одиночестве, с жалким независимым видом.

Обогнув газон с Ломоносовым, выходили из ворот, налево дорога вела к мимолетному зданию к Охотному ряду, туда и двинулось большинство. Девушка и спутник остановились в некотором замешательстве. То, что произошло, было сюрпризом для обоих.

Стендаль отводит три страницы описанию сложных манёвров, благодаря которым Жюльену удалось задержать руку госпожи де Реналь в своей руке. Ира с внезапной отвагой сама просунула руку под левый локоть Иванова. Оправдать эту решительность могло разве только увечье спутника.

И они повернули в другую сторону. В сущности, это было одно движение: взять кавалера под руку и шагнуть направо.

Теперь задача была приноровиться к его неровному шагу. Волнение улеглось, но не надо забывать, что для волнения было достаточно оснований. Получалось, что мы «навязываемся». Так можно было истолковать нарушение этикета. Так нужно было его толковать. Не забудем, что действие происходит в обществе девушек без мужчин и невест без женихов. Возможно, будь Ира постарше, она бы так и подумала: да, навязываемся, лезем к нему; ну и что? Но до этого было ещё далеко. Не следует удивляться

деспотизму приличий в государстве, где аскетическая мораль революции обернулась ханжеством, каких поискать. Этикет, как вериги под рубищем у подвижника, сковал юность, ещё не ведавшую о том, что политическая тирания предполагает как некое продолжение тиранию целомудрия.

И, однако, что должен был означать этот жест Иры, дерзкая инициатива, которую она взяла на себя, быть может, впервые в жизни? Не могла же она не знать, что такой знак может быть понят превратно. Была ли это в самом деле попытка сближения или всего лишь снисходительность к инвалиду? Или попросту страх в ночном неуютном городе? Иванов шествовал, глядя прямо перед собой, Ира старалась подладиться под его широкий, слегка подпрыгивающий шаг и внимательно смотрела себе под ноги.

«А ведь я даже не знаю, – сказала она, держа под руку Иванова или, может быть, держась за него, – как вас... как тебя зовут!»

### 3. Приказ есть приказ

В самом деле, было уже поздно; погасли через один уличные фонари; лишь кое-где в тёмных окнах теплятся огоньки керосиновых ламп. В домах после одиннадцати отключается ток. Даже в центре попадаются навстречу лишь редкие пешеходы. Город спал и не спал, больше не было будущего, зато явью становились воспоминания. Явь походила на сны, и непросто было отличить одно от другого. «Как зовут... – проговорил Иванов. – Но ты же знаешь, как меня зовут». Он смотрел то на ярко освещённые стеклянные двери подземелья, то на часы у себя на руке, верх роскоши по тем временам.

«Ещё четыре минуты, вот сволочи», – пробормотал Иванов, которого, между прочим, звали Юрий Михайлович; хотя разница между ними была каких-нибудь пять лет, он успешно изображал перед девочкой знающего жизнь человека и даже сноба. Ире казалось, что он ещё старше. Но не называть же его, в самом деле, по имени-отчеству. Был, как уже сказано, поздний час, и чувство ночного города и одиночества вдвоём как-то вдруг пробрало обоих. Четыре минуты остается или, если быть честным, три. А они уже закрылись. Иванов забарабанил в дверной косяк. Светлый вестибюль и эскалатор – ступеньки всё ещё подъезжали из глубины – были пусты.

Несколько времени погода показали голова и плечи уборщицы, она выехала с ведром и шваброй, замотанной в тряпку. Иванов стукнул кулаком в дверь, старуха презрительно покосилась на них. С завязанными на затылке косичками бесцветных волос, болезненно полная, низкобёдрая, в рубище, из-под которого шаркали её голые ноги в шлёпанцах, она превратилась на краткий миг из рабыни в начальницу. Иванов стучал пальцем по циферблату ручных часов. Но теперь стрелки показывали уже первый час ночи. Женщина умокнула швабру, шлёпала и елозила мокрой шваброй по каменному полу. Так она приблизилась к дверям. «Я попрошу!» – громыхнул офицер. Поджав губы, она увидела побелевшие от ярости глаза за стёклышками пенсне, перевела взгляд на удостоверение, которое он держал перед дверным стеклом.

Бесконечный, пустой эскалатор увозил их в подземный мир. Они сидели в мертвенном сиянии газосветных трубок одни на безлюдном перроне, грозно пылало зелёное око у входа в чёрный туннель, большой квадратный циферблат показывал фантастическое время; и прошло неизвестно сколько, девушка сбросила туфли, поколебавшись, улеглась на скамье, поджала ноги в чулках. Иванов выбрался из пальто и укрыл её, рукав свесился на пол, голова спутницы покоилась у него на коленях, и всё ниже опускалась на грудь его огненно-рыжая голова. Он очнулся, взглянул на часы. Пол слегка ходил под его ногами; штормило. Э, нет, сказал Иванов. Не выйдет.

«Что не выйдет?»

Было и былём поросло, отвечал Иванов. И нечего возвращаться.

Девушка спала, утомлённая своей молодостью, толчейей, голодом, громом духового оркестра. Было уже сильно за полночь, он вглядывался в полукруглый проём туннеля, и ему чудился доносящийся из мрака дальний гул поезда.

Голос из темноты сказал:

«Приказ есть приказ».

Мало ли что. Пошел ты с твоим приказом, с меня хватит. Хватит! – чуть было не крикнул он. – Война кончилась. – Но спохватился, что разбудит женщину.

Ответа он не мог различить, ветер рвался из туннеля, колючие льдинки бьют в лицо, вахтенный в меховом комбинезоне, на площадке командной башни, рядом с антенной и трубой перископа, медленно поворачивает голову с биноклем и видит сквозь снежную мглу, прямо по носу, как светлячки, две, потом четыре точки. Он нагнулся к переговорной трубе, тотчас на мостик поднялся командир, точки превратились в огни, командир вполголоса отдавал вниз команды.

Оба нырнули в люк, срочное погружение. Огромный освещённый корабль в рамке перископа. Одна за другой три восьмиметровые сигары несутся к цели, четвёртая застряла в торпедном отсеке. Грохнул взрыв, второй, третий, столбы пламени осветили трубы и палубы с чёрной копошащейся людской массой, пароход заволокся дымом, чёрный нос поднялся над водой – последнее, что они видели. Нужно было успеть уйти на большую глубину, где давление воды уменьшало радиус взрывной волны от глубинных бомб. Люди услышали тяжёлый удар молотом с водяных небес, и ещё удар. «С-13» уходила от погони. И снова Данцигская бухта, радиограмма из штаба флота, лодка идёт в разрез волны, ветер в лицо, морозец градусов под двадцать, поглядывай, сказал командир, я на минутку спущусь, хвачу горяченького, справа двадцать заработал маяк, ага, намечается вход или выход больших кораблей. Вахтенный обшаривает в бинокль невидимый горизонт. Огни прямо по носу!

Новый удар потряс лодку, так что вздрогнула скамейка, на которой он сидит, голова женщины на коленях, на этот раз их достали, вода хлынула в отсеки, и тут, наконец, гул и грохот последнего поезда вырвались из туннеля.

#### 4. Экспозиция: Alma mater

История, как и природа, не терпит вакуума, то, что принимают за перевал времён, есть итог чего-то, что незаметно копилось до тех пор, пока история не израсходовала своё терпение. Людям, сумевшим дожить до победы, казалось, что война налетела, как ураган, на мирную жизнь; о том, что мирная жизнь была материнским лоном войны, никто не вспоминал. Все преступления прошлого были списаны, как неоплаченные долги, страдания забыты; люди старались не смотреть на орды слепых, безногих и безруких, наводнивших толкучие рынки и пригородные поезда; нация переживала свой высший триумф, между тем как новая эпоха, словно чудовищный плод-ублюдок, созревала в тёмном чреве истории, чтобы в конце концов разорвать её ложесна. Новое и страшное приближалось и, в сущности, уже наступило. Смутно, не отдавая себе отчёта, его пришествие чуяли молодые люди. Но тайное дитя было их ровесником, они не помнили прошлого и не интересовались им. Проклятье истории ещё не успело дойти до их сознания.

А пока... пока что цвела прекрасная тёплая осень, лучшее время года в этом изумительном городе, под ласковым солнцем поблескивала брусчатка широкой Манежной площади, кроны Александровского сада под розовато-бурой стеной Кремля

только ещё собирались желтеть, и грязно-белые, давно не отремонтированные храмины университета по обе стороны улицы Герцена мало-помалу вторгались в сны, превращались в родимый дом.

Войдём в ворота, обойдём памятник, поднимемся по ступенькам подъезда.

Взбежим по широкой лестнице на площадку под балюстрадами второго этажа: два боковых марша, галерея, бледно-морковные колонны под мрамор, белые монументы вождей и высокие узкие двери аудитории, некогда Богословской, ныне Коммунистической.

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! <sup>1</sup>

Бледный день сквозит через стеклянную крышу. Толпа первокурсников запрудила парадную лестницу. Но можно не подниматься на галерею, можно обогнуть колонны первого этажа, пройти мимо пустой раздевалки, газетного киоска и уборных, толкнуться в низкую дверь. Прихватив полы чёрного, перешитого из морской шинели, наброшенного на плечи пальто, стуча палкой, в полутьме взобраться по крутым, в три марша, ступенькам потайной лестницы и выйти на балкон Комаудитории.

Там уже сидят: человек семь-восемь. Тускло-золотистая, с узелком на затылке и колечками на висках голова Иры, рядом – как же иначе – Марик Пожарский. Иванов протиснулся, надменно поблескивая стёклышками пенсне, полыхая рыжими волосами. Внизу уступами поднимались ряды сидящих, ерзающих, шумящих, шушукающихся; старец в шапочке, с клинообразной бородкой, тот самый, дремавший в приемной комиссии, восседал на эстраде, кутался в шубу, фетровые боты торчали из-под столика. Всё стихло, профессор Данцигер прихлёбывал чай из стакана с подстаканником, вещал мерно-величественным голосом, который едва доносился до сидевших на балконе.

Толпа текла вниз по широкой лестнице, журчали девические голоса, трое стояли под аркой с часами, не решаясь разойтись и не зная, куда податься. Сверху, с галереи второго этажа, озарённые золотушным лучом, их благословляли со своих постаментов гипсовые небожители.

## 5. Конец поэзии, или ратоборство певцов в крепости Вартбург

В те времена функционировали поэтические кружки.

Устарелая, как морские карты XVI столетия, география университета на Моховой была бы неполна, если бы, выйдя из Нового здания, мы не обогнули полукруглое крыло и свернули влево, как некогда повернула к югу флотилия Магеллана. Здесь начиналась узкая, как ущелье, улица Герцена, здесь рельсовый путь вёл от Манежа к Никитским воротам; а напротив – залитый солнцем флигель Старого здания и Зоологический музей.

Толкнув тяжёлую дверь, через тамбур с окошками касс, входили в сумрачный вестибюль и видели перед собой невысокую лестницу, мраморный бюст и строки славной оды на постаменте: *Держайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать...* <sup>2</sup> Но не всходили, а направлялись налево, три ступеньки вниз, в полуподвал.

Были участники и участницы этих собраний, и доживали свои дни наставники-стихотворцы. Ещё существовали резервации государственных поэтов, редевшие с каждым днем; их обитатели вырождались: ничего не делали, сидели на шее у ста-

<sup>1</sup> Вы вновь со мной, туманные виденья. («Фауст», Посвящение. Пер. Н.Холодковского).

<sup>2</sup> Ломоносов, «На день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны».

реющих подруг, выклянчивали авансы, пили водку и сочиняли стихи, похожие на лапшу. И всё же это был по-своему величественный, полный смертной надежды, как пламя оплывшей свечи, конец. Если бы молодёжь об этом знала! Но она не догадывалась ни о чём. Прозе не было места в катакомбах клуба. Кучкой, как заговорщики, в тусклом коридоре стояли мальчики и девочки, в центре кто-то, рубя кулаком, как полагалось в то время, читал стихи. Входили в комнату, где стоял бесполезный рояль, рассаживались и ждали, когда начнутся стихи. Отворилась дверь, кто-то мешкал перед входом. Все головы повернулись к дверям. Вошел поэт. Он вошел, как врывается ветер, некогда им воспетый. *Итак, начинается песня о ветре...* Посверкивая очами под грозowymi крыльями бровей, прошагал между стульями. *О ветре, одетом в солдатские гетры. О ветрах, идущих дорогой войны.* Упругий ритм, похожий на марш, упрямое чередование одних и тех же согласных, рифма, какой еще не слышали, и главное, какой образ! Эти юнцы не знали, что гетры были взяты напрокат у Киплинга, ибо красноармейцы гражданской войны были обуты в обмотки. *О войнах, которым стихи не нужны.* Воображение рисовало им великана с красной звездой, в шлеме с прорезью, надвинутом на глаза, с ранцем за плечами, солдата, шагающего в серых гетрах по дорогам войны. Следом за руководителем студии ступал никому неизвестный, мрачного вида персонаж в пиджаке, одолженном у кого-то, с плоским перебитым носом на невыразительном лице.

Гулко откашлявшись, поэт уселся рядом с роялем. Началось чтение. Хорошо одетый юноша в заграничном галстуке, с пробором в масляно-блестящих тёмных волосах, по всему судя, отпрыск важных родителей, артистическим жестом положил ладонь на крышку рояля, взмахнул свободной рукой и заработал кулаком, словно вколачивал сваи, при этом он не произносил некоторых согласных; получилось так:

Юбoвь,  
пьиди,  
пьиди  
скоей,  
я пвачу,  
пвачу,  
свышишь? – пвачу!

Каждое слово вбивалось кулаком, хотя по тону и настроению стихов это было вроде необязательно.

Тузы –  
пиковые –  
ночей –  
Мне нагадали –  
неудачу!

И далее в этом роде. Стихи произвели большое впечатление. Тузы пиковые ночей, это было что-то новое. Это был «образ», нечто ценившееся выше всего. Гуталиновый юноша смотрел сквозь длинные ресницы куда-то вдаль над двумя рядами девочек, и было странно и волнительно, что такой красавчик жалуется на любовные неудачи. Председательствующий наклонил кудлатую голову в знак одобрения. Прения были отложены на конец заседания, Марик Пожарский, с нетерпением ожидавший своей очереди, приготовился выступить вперёд, с цитрой, как рыцарь Тангейзер в Вартбурге, но тут руководитель вновь густо прочистил голос, что означало переход к главному пункту повестки дня.

Он указал на продавленный нос молодого поэта, автора фронтовой поэмы, у которого, сказал он, применив профессиональный термин, есть интересные ходы.

Молодой поэт, впрочем, не совсем уже молодой, с поредевшими, цвета лежалой соломы, волосами, мрачно сказал, сильно налегая на «о», что поэма большая, в ней десять тысяч строк. Поэтому он прочтет другое стихотворение.

В этом стихотворении шла речь о возвращении с войны, о том, что он не собирается уходить на покой, потому что руки саднит от жажды работать, и в некотором противоречии с этим желанием в конце говорилось, что «лучше придти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Все посмотрели на пиджак поэта, но там обе руки были на месте. Председатель предложил перейти к обсуждению. Никто не вызвался. О Марике забыли. Встала маленькая, черноволосая, малиновая от волнения восьмиклассница и попросила разрешения прочитать стихи никому не известной поэтессы Ахматовой. Председательствующий поэт устремил на девочку ястребиный взор, покосился на ручные часы, может быть, сказал он, вы прочтёте что-нибудь ваше... Она обвела собрание умоляющим взором. Поэт развел руками. «Слава тебе, безысходная боль...» – начала она тоненьким голоском. При этих словах поэт встрепенулся, приподнял могучую бровь, соединил пальцы рук.

Слава тебе, безысходная боль!  
Умер вчера сероглазый король.  
Вечер осенний был душен и ал...

## 6. Дом привидений

В ворота гостиницы губернского города NN въехала рессорная бричка. Но (скажут нам) рессорных бричек давно уже не существует. Нет больше и господ средней руки, нет половых, выбегающих навстречу, нет поросят с хреном и со сметаной, мужиков, обсуждающих достоинство колеса, нет больше таких колёс и вообще ничего нет. Что же есть, что осталось от гоголевских времён? Осталось ли что-нибудь? В ворота подмосковного дома отдыха, разбрызгивая грязь, въехала машина.

Была глубокая осень, время тишины, покоя и вдохновения.

Это был дом, непохожий на обычные дома отдыха, принадлежавший особому ведомству, которое не называло себя ни ведомством, ни министерством; это был монастырь муз. В старинном двухэтажном особняке за особняке за забором, с высокими окнами в белых наличниках, с гостиной, где стоял рояль, столовой, библиотекой, бильярдной, постояльцев ожидали уютные комнаты – у каждого своя, – внизу, в прихожей на дощечке стояло: «У нас в гостях...» – и дальше славные, заслуженные имена. Это был дом отдыха, называемый также домом творчества писателей.

Ибо писательство, по тогдашним понятиям, собственно, и было не чем иным, как отдыхом, – не мешки таскать, как выражался плебс. Можно даже сказать, что писательство в некотором высшем смысле было отдохновением от жизни, – хоть и притязало на исключительное знание народной жизни. Творчество, или что там под этим подразумевалось, – лежание на кровати, постукиванье двумя пальцами по клавишам машинки, мечтательное курение, поглядыванье в окно, – творчество – означало, что счастливцев, в нашем случае это был поэт, раз и навсегда освобождён от работы, от вскакиванья с постели ни свет ни заря, от впихиванья в автобус, от толчеи в подземных переходах и поездах, в утрюмой толпе таких же обречённых работать, от висения на подножке трамвая, от многочасового стояния в очередях, короче, от всего, что называется жизнью. Здесь, в этом доме, можно было встать когда хочется, лечь когда хочется,

солидно прогуливаться на свежем воздухе, можно было в пижаме и тёплых домашних туфлях, подняв бильярдное копьё, обдумывать удар шаром или строфу эпической поэмы. Поэт выбрался из машины. С двумя чемоданами и зонтом под мышкой, в толстом ратиновом пальто и мохнатом картузе, тяжело дыша и помогая себе бровями, он взошёл на крыльцо, вступил в прихожую. Он был встречен кокетливой горничной. Немного спустя гость отдыхал в носках на кровати, в комнате на втором этаже, на полу стояли его чемоданы, пальто небрежно брошено на стул. Ветки с остатками жёлтой листвы заглядывали в окно, рабочий стол с пишущей машинкой дожидался приезда. Это был тот самый поэт с грозowymi крыльями бровей, председатель поэтической студии в университете. *Итак, начинается песня о ветре.*

Вернувшись из столовой, он развесил вещи в шкафу, разложил на столе бумаги, книги с закладками. День померк. Зашумел дождь. Ветер истории ворвался в уютный дом, в полутёмную натопленную комнату. Завтра с утра предстояло засесть за работу. Может быть, это был его последний шанс. Поэт давно не выдавал ничего основательного. Суета и безделие, членство в комиссиях, председательствованье на юбилейных вечерах, суверенное сиденье до поздней ночи в ресторане дома литераторов высосали остатки вдохновения. Величественный, как бог-громовец, поэт всё ещё был окружён женщинами. Кормился переводами фантомных стихотворцев братских республик. «Баллада о ветре» перепечатывалась в хрестоматиях. Как-то незаметно ветер превратился в движение воздуха, подобное тому, которое создаётся вращением вентилятора. Такие устройства необходимы в эпоху умирания поэзии. Как, когда это случилось? Он звал юность, как зовут сбежавшую любовницу. Ему всё ещё казалось, что ветер улётся оттого, что утасла поэзия, а не наоборот.

Ещё не было написано ни одного связного отрывка, замысел рисовался, словно облачный замок. Это была Илиада и Одиссея наших дней. Её строки были медлительны, в них слышалась тяжкая поступь миллионов, умерший ветер революции должен был предстать живым человеком и былинным богатырём. Вождь являл сегодняшний лик революции. С трибуны мавзолея он простирал руку в будущее. Залатать разлезшееся время. соединить завет революции с верой в Вождя, таково веление дня. В конце концов это значило возродиться самому. В заботах об этом, под шелест дождя и поскрипыванье половиц старого дома, он погрузился в сон.

## 7. Гостя «оттуда»

Настало утро; выпавшийся, умытый, с расчёсанными бровями, он сошёл вниз. Столовая помещалась в самой лучшей, большой и светлой комнате, всю стену занимал монументальный буфет морёного дуба. О бывшем владельце виллы было известно только то, что он существовал и пропал. Посреди комнаты на тяжёлых резных ногах стоял обеденный стол, за которым рассаживались постояльцы. Позвякивали вилки, разворачивались крахмальные салфетки, хлебница путешествовала из рук в руки, с достоинством намазывалось на ломтики хлеба ароматное бледнозолотистое масло, не спеша, обратной стороной чайной ложечки разбивалась скорлупа яиц, входила улыбающаяся горничная в переднике и наколке, с кушаньями на подносе, всё было по-домашнему, без хамства, аристократично и вальяжно; «будьте добреньки, передайте соль», «с вашего позволения, сыр...», «а что там такое – о, гренки...». Подавальщице – «спасибо, Вальюша». Всё принималось как должное, как осень за окном, всё подразумевалось само собой, никто не спрашивал, откуда взялась вся эта благодать.

С опозданием вошла новая гостья, её имя, известное и вместе с тем неизвестное, а лучше сказать – небезызвестное, значилось на дощечке в прихожей. Молва распространилась вполголоса и предшествовала её прибытию. Вошла женщина с тёмным пепельным лицом и серыми, как хрусталь, блестящими глазами, с коротко стриженными полуседыми волосами, узкая, плоскогрудая, с сигаретой в бескровных губах, в тёмносуконном платье и накинутой на плечи серой вязаной кофте. Тотчас разговоры за столом прекратились, каждый был занят своим делом. После завтрака все разошлись по комнатам.

С раскрытым зонтом поэт стоял на крыльчке в пальто и картузе, дневному сну он предпочитал прогулку. Было это, вероятно, через несколько дней после приезда. Выглянуло чахлое солнышко. Он свернул зонт. Серая дама вышла из дома. На ней был дождевой плащ, пожалуй, слишком лёгкий для этого времени года, голова повязана платочком из такой же ткани. Жизнь в доме, похожем на интернат, облегчает знакомство. По непросохшей тропе вдоль кювета, – худенькая гостья впереди, грузный поэт следом, – дошли до обломанной церкви, где размещалось местное сельпо. Сигарет, к сожалению, не оказалось, с сигаретами в этой стране была проблема. «В этой стране?» – переспросил он. Она кисло улыбнулась, поправила: «В нашей стране».

Это была, следовательно, «наша страна». Поэт иронически поднял бровь. Дама купила пачку папирос «Звезда». Улица вывела к лесу. Побрели вдоль опушки. Он спросил, где она поселилась.

Нигде, был ответ.

Закурив, она добавила:

«В Литфонде обещают что-нибудь подыскать. Пока буду жить здесь».

На осторожный вопрос, одна ли она приехала, не уточняя, приехала ли в дом творчества или «вообще», – она ответила: одна.

Солнце то проглядывало, то исчезало за набухшими влагой облаками. Он не спросил, откуда приехала. Это было более или менее известно. Из царства теней, вот откуда. А может быть, мы здесь, подумал он, кажемся ей тенями. Чушь: мы здесь жили. Мы воевали, мы.... он споткнулся и чуть не шагнул в воду. А они там прозябали.

Шли осторожно, точно по минному полю. Обходя лужи, перешагивая через корни.

«Странно», – проговорила поэтесса и остановилась. Папироса между пальцами; хрустальные глаза устремлены в пустоту.

«Что странно?»

«Всё. И этот лес, и село».

«Вы хотите сказать: посёлок?» (Приятно было ловить её на ошибках).

«Да. Ничего не изменилось! То есть, конечно, всё изменилось. И в то же время...»

«Вы здесь раньше бывали?»

«Здесь – нет».

«Простите, я перебил вас. Вы хотели сказать, всё – то же и всё другое?»

Серая дама пожала плечами. «Вы не можете себе представить, – сказала она, – что это за чувство, слышать везде, изо всех уст русскую речь».

«Сколько времени вы не были, э...?»

«В России? С двадцатого года. Мы уезжали из Новороссийска... Вас эта тема не смущает?»

«Меня? – спросил поэт. – Нисколько».

«Я представляю себе, как вы на всё это должны смотреть».

«Как?»

«Вы один из главных поэтов той поры». (Она не сказала – советских).

«Что значит – главных?»

«Самых известных».

«То есть... – он усмехнулся, – принадлежу этому времени?»

Она возразила:

«Мы все принадлежим этому времени».

Прошагали ещё немного.

«Итак... – промолвила серая дама. Она остановилась, улыбаясь, смотрела в пространство. – Итак, начинается песня о ветре...»

Проклятье. Как будто с тех пор он ничего больше не написал.

«О, простите. Это, кажется, Светлов. Или Луговской?»

«Нет. Это я».

Идёт эта песня, ногам помогая.

Качая штыки...»

«Они все уже умерли».

«Некоторые живы... Вы неплохо знаете нашу поэзию».

«Поэзия общая. Или ничья. Как язык. Как эти облака... И всё-таки странно. Ведь мой муж тоже воевал. Он был в Добровольческой армии», – сказала поэтесса и покосилась на собеседника – вызывающе, как ему показалось. Он подумал: сомнамбула. Нет, хуже.

Вслух он сказал:

«Я это знаю».

Она подняла брови. «Вы знаете, что мой муж был белым офицером?»

«Да. И что он погиб при отступлении».

«Откуда вам это известно?»

«У вас есть стихи».

«Ошибаетесь; вы, очевидно, имели в виду Цветаеву. Нас иногда путают».

Шли дальше.

«Я на гражданской войне по существу не был. Заболел сыпняком, не доехав до фронта».

«Это было тысячу лет назад, не правда ли?»

«Пожалуй, ещё больше».

Обогнув лесок, вышли к полю, заросшему почернелой травой. Автор «Баллады о ветре» спросил, не собирается ли она что-нибудь опубликовать на родине. Собираюсь, сказала серая дама. Кто-то предложил подготовить небольшой сборник.

«Впрочем, совершенно напрасная затея».

«Но почему же?»

«Не напечатают. Меня здесь никто не знает. Говорят, уже есть отрицательный отзыв».

«Может быть, я мог бы вам...»

«Быть полезен? – быстро спросила она. – Спасибо, – и покачала головой. – Мне никто ничем помочь не может».

Она добавила:

«Даже если бы что-нибудь из этого получилось. Меня никто не станет читать!»

«Вы ошибаетесь».

Она промолчала.

Поэт назвал её по имени-отчеству, она встрепенулась. Можно ей задать вопрос?

«Сделайте одолжение».

«Вы не жалеете?»

Она не спросила – о чём. Усмехнулась:

«Не жалею».

«Извините моё любопытство... мою назойливость».

«Что вы, что вы».

«Я, конечно, понимаю. Но всё же. Что побудило вас?..»

«Вернуться?»

Поэт кивнул, и они продолжали свой путь.

«Нет, – сказала она, – здесь очень грязно».

На ней были лёгкие туфли; повернули назад.

«Логичней было бы спросить...» – пробормотала она.

«Кажется, снова крапает, – сказал поэт и раскрыл зонт. – Можно мне взять вас под руку?»

«Логичней задать вопрос, что могло бы меня остановить. Что останавливает многих. Страх? Вражда? Верность белой идее? От этой идеи ничего не осталось...»

«Да, конечно».

Она усмехнулась: «Откуда вам это известно?»

Поэт пожал плечами. Должно быть, сказал он (или хотел сказать), должно быть, мешает вернуться и ещё кое-что.

«Вы имеете в виду возможные репрессии. Может быть. В конце концов, судьба Марины должна была бы всех насторожить... Но ведь и это было давно, времена изменились. Как вы думаете?»

«Да, да, – поспешно сказал поэт. – Разумеется, времена изменились».

«Правительство даже специально обратилось к эмигрантам».

«Да, конечно».

«Что касается меня, то есть что меня заставило преодолеть страхи... или преубеждения... Было много оснований для возвращения. Само собой, против меня оцетинились многие. Я имею в виду литературную эмиграцию... Даже Бунин, и тот... Впрочем, он-то и ополчился на меня больше всех. Хотя не одна я решила вернуться. Но, в конце концов, дело не в этом».

Помолчали; поэт ждал продолжения.

«А дело в том... – сказала она, осторожно ставя туфли, перепачканные глиной, – это, может быть, слишком громко звучит... Дело в том, что я почувствовала, как бы это объяснить».

И хоть бесчувственному телу  
Равно повсюду истлевать,  
Но всё же к милому пределу...

В Sainte-Geneviève-des-Bois мне бы лежать не хотелось».

Зачем тебе, подумал он вдруг. Ты и так мертва.

Но он не знал французского языка и спросил: что это такое?

«Русское кладбище. Километров пятнадцать от Парижа. Там, можно сказать, лежит весь цвет».

«Что ж...» – пробормотал он.

«А вы? Вы как считаете? Искренность за искренность».

«Я?.. вы хотите знать моё мнение?»

«Да. Хочу».

«Стоило ли возвращаться».

«Да».

«Вам».

«Да – к примеру. Я понимаю, – сказала дама в сером, – что задаю бестактный вопрос. Вам, советскому патриоту. Хотите, я сама отвечу? – Не стоило».

«Вот как!»

«Но и оставаться не стоило. Дело в том, что поэзия умерла».

Дождь зарядил. Вот оно, думал поэт. Это и есть нужное слово. Ты сама – смерть. Слава Богу, ничто из того, о чём она говорила, – её заботы, её холодное отчаяние – нас не касается.

Вдруг оказалось, что собеседница куда-то делась. Он окликнул её, снова по имени и отчеству. Она стояла за углом.

Он подумал о том, что сейчас они вернутся (пожалуй, будет лучше, если не вместе), он взойдёт на крыльцо тёплого, уютного дома и оставит мокрый зонт в прихожей. Поднимется к себе и зажжёт настольную лампу. Начинает темнеть. Дни стали совсем короткие. Он ещё полон сил, ему жить и жить. Умерла ли поэзия? О, нет. Поэт наденет домашние туфли, закурит, завернётся в халат. И примется за эпохальный труд.

## 8. Ира у балюстрады

Был некогда на нашей памяти один студент, зубрил науки, сдавал зачёты и переходил с курса на курс, а сам дважды в неделю тайно ездил в подмосковный посёлок и заканчивал вечернюю среднюю школу. Неизвестно, как он сумел стать студентом без аттестата зрелости, – впрочем, можно добыть фальшивый аттестат. О Марике Пожарском можно сказать, что он был кавалером без аттестата зрелости; очутившись в высшем учебном заведении, оставался в некотором смысле школяром-семиклассником и всё ещё переживал эпоху, когда каждое увлечение представляет собой любовь с первого взгляда. Этот взгляд натывается на какую-нибудь деталь, как взгляд кинозрителя натывается на грудь актрисы, словно ненароком показавшуюся в кадре. Можно более или менее точно указать время, когда случилось короткое замыкание: были ранние осенние сумерки. Матовые шары уже сияли на галерее. Народ высыпал на перерыв из Русского кабинета. Марик был студентом романо-германского отделения, но этот кабинет, комната с диваном, книжными шкапами и столиками, на которых стояли лампы, за недостатком свободных аудиторий давал приют группам всех отделений. Марик стоял в дверях, в неопределённой задумчивости, ничего не видя перед собой, невзначай поднял голову и увидел два девических силуэта. Они стояли шагах в пяти спиной к нему. Одна из них наклонилась над балюстрадой.

Она встала на цыпочки, отчего её красное платье слегка приподнялось, обрисовались бёдра, обнажились обтянутые чулками подколенные ямки, и прежде чем Марик сообразил, в чём дело, эти ямки отпечатались, как на целлулоидной плёнке, на дне его глаз.

Камера отъехала; Марик увидел её всю. Ира позвала кого-то спускавшегося по лестнице, её ладони упирались в плоскую поверхность балюстрады. Платье из поблескивающей материи, должно быть, из сатина, с отделкой вокруг шеи, слегка вздёрнутое, облегло её тело, очертилась линия от рыжеватых завитков волос к приподнятым плечам, от подмышек к талии, где обозначилась поперечная складка, и далее, описав полукруглые бёдра, задержавшись на сотую долю секунды, взгляд опустил к слегка напряжённым икрам, к пяткам, привставшим над белыми туфлями-босоножками.

Ира на цыпочках, рядом с подругой, для Марика, впрочем, не существовавшей, склонилась над балюстрадой, нашла кого-то внизу, и вслед за этим движением поднялось ее светлопунцовое платье, подчеркнуло рисунок бёдер и обнажило подколенные ямки. Тут он заметил, – чего никогда не умел замечать, – что красный цвет замечательно подходит к золотистым волосам, увидел, наконец, её всю.

Ира крикнула, смеясь, кому-то идущему вниз по лестнице бессмысленные слова и, очевидно, сейчас же забыла о нём; теперь она стояла вполоборота к подруге, которая что-то настойчиво твердила ей; красное платье опустилось до коленок, Ира сняла руки с балюстрады, подняла ладонь к волосам, и снова едва заметно обрисовалось её тело, открытые следовали одно за другим, изгиб талии подчеркнул лёгкую выпуклость зада, из-под локтя показалась её грудь, но зрение было ослеплено, и Марик, если бы он закрыл глаза, увидел бы на сетчатке всё ту же фигуру, склонённую над балюстрадой. Почувствовав на себе посторонний взгляд, она обернулась, зеленые глаза смерили Марика. Всё это продолжалось, вероятно, не больше минуты, и, круто повернувшись, он вошёл в кабинет.

## 9. Новое в теории электромагнитных полей

Ах, какая началась жизнь. Полная загадок, захватывающего интереса, недоговорённости, таинственных взглядов, небрежных реплик. Жизнь, в которой обычные слова были паролем особого диалекта, топорный перевод с иного, несравненно более тонкого языка. Как в обыкновенном языке смысловые оттенки каждого слова образуют некоторое семантическое поле, так сигналы тайного языка обретали смысл в магнитном поле особого рода. Генератором этого поля была девушка.

Вечером, когда над опустевшей галереей второго этажа теплились бледножёлтые шары, Марика Пожарского пронизывали волны таинственного предчувствия. Он топтался между статуями из алебаstra, расхаживал вдоль морковных колонн, соединив брови, точно решал математическую задачу, висел на балюстраде, борясь с искушением поглядеть вниз, на старуху-сторожиху и входную арку, и всё это до тех пор, пока не приходили в движение стрелки некоего прибора, пока сердце-счётчик не принималось отстукивать импульсы силового поля. Тянулись минуты, ожидание стало невыносимым. И вот показались под аркой ноги в танкетках, показалось пальто, суженное в талии, появилась она вся. Ира всходила по лестнице, опустив голову, на ходу расстёгивая потемневшее на плечах пальто, откинув капор, встряхивала мокрыми завитками волос, вышла на галерею. «Ты?.. Привет», – сказала она с притворным удивлением. По правде сказать, она удивилась бы, если бы его тут не было.

Ира выросла на Арбате в старинном доме, который видел конницу Мюрата; как все, проживала в коммунальной квартире и, как большинство граждан, не чувствовала себя обделённой. Полутёмный длинный коридор, заставленный рухлядью, упирался в их дверь; большая комната была разделена пополам занавеской, переднюю половину перегородивал дедовский шкаф, справа помещались родители, слева спала Ира. В задней половине обитало семейство старшего брата, молоденькая, возраста Иры, жена и ребёнок. Ира мыла пол, стирала, стояла в очередях, няньчила плачущее дитя и знала, в буквальном смысле понаслышке, в чём состоит ритуал интимной жизни мужчины и женщины; шопот, скрип кровати, боязнь беременности, боязнь, что услышат, были компонентами этого ритуала.

Ира была невысокого роста, от природы несколько наклонна к полноте и лет через десять должна была превратиться в толстушку, если предположить, что к тому

времени жизнь станет сытой. Ира мелко и твёрдо ступала на своих крепких коротковатых ногах, слегка покачивая бёдрами, которых ждало блестящее будущее. Она успела вступить в возраст, когда девическая неуклюжесть начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. Весь её облик, походка, посадка головы как бы говорили: иначе и быть не может.

Кем-то сказано, что девушки бывают из серебра или из золота. В бледнозолотистом ореоле волос, казавшаяся бледной, с синевой под глазами, что можно было отнести на счёт женского нездоровья или хронического недоедания, она стояла перед Пожарским, давая понять, что он мешает ей пройти в читальный зал. Ощущала ли она невесомое дрожание, шелест магнитного поля, которое окружало её? Скорее она сама находилась под его воздействием, чувствовала, входя в университет, что её несёт прозрачное облако. Временами ей начинало казаться, что она влюблена; но в кого? В себя, разумеется. Предметом тайной симпатии, если не вождения, была она сама, её тело, её походка; как если бы в ней самой жил подросток и подглядывал за женщиной. И она искала редкой возможности побыть одной, чтобы, сбросив одежду, наслаждаться лицезрением самой себя перед волшебным стеклом. Совсем другой вопрос, была ли она готова хотя бы пальцем шевельнуть, чтобы ободрить Марика.

Она спросила, что он тут делает. Последовал неопределённый ответ, неохота идти домой или что-то в этом роде; но на том подлинном языке, где не было склонений и спряжений, на языке без слов, ответ не допускал двух толкований.

«Надо к завтрашнему сделать перевод», – сказала она.

«Я тебя подожду, ладно?» – отважно крикнул он вдогонку. Удаляясь, она слегка пожала плечами.

## 10. Впрочем, не такое уж новое

Если Ира (как большинство её сверстниц) к этому времени успела открыть себя, то неуверенность Марика объяснялась тем, что он всё ещё искал себя и не мог найти.

Девушка, стоящая перед зеркалом, делает открытие, подобное открытию Колумба; то, что предстало ей, не есть то, что она искала, но именно то, что надлежало открыть. Она испытывает чувство раздвоения; вот так могли бы её видеть другие; разглядывает себя как нечто новое и вместе с тем – «то самое»; та, что стоит в стекле, свидетельствует, что это она сама. Чтобы окончательно убедиться, она проводит руками от подмышек и ниже, вдоль талии, да, это её грудь и лирообразные бёдра. Её нежный, вздетый кверху подбородок. Все, что удостоверяло в ней женщину, что подчеркивало и делало неопровержимым её пол, – всё это было она сама. Иначе обстояло дело с Мариком Пожарским.

Известная теория о том, что пенис есть символ власти, что его отсутствие воспринимается как потеря и, дескать, вот откуда сбегающая женскую душу тайная зависть, досада, отчего ты не родилась мальчиком, – теория эта показалась бы Марикю абсурдной, ибо он вовсе не гордился тем, что имел, и уж, конечно, не притязал ни на какую власть. На самом деле, если уж на то пошло, присутствие этого придатка тяготило, смущало, было причиной постоянной неуверенности, неловкости, беспокойства и тайных мук.

В темнице своего «я», куда едва проникали косые лучи света, барахтаясь в собственной душе, как на дне колодца, Марик не имел представления о том, чем жили и дышали представительницы другого пола, чем жила Ира, о чём она думала, чего

хотела; само собой, невозможно было решить и насущный вопрос: какое место он занимает в её душе? Их «отношения» – приходится взять это слово в кавычки – можно было бы назвать приятельскими, если бы не влюбленность; можно было бы назвать любовью, если бы из них старательно не изгонялось всё, что напоминало о любви. Ведь сказал же Гейне: все мы сидим голые под нашей одеждой. Как под одеждой таилось нечто неупоминаемое, так под покровом студенческой фамильярности скрывалось напряжение, которому не было исхода.

Марика Пожарского, как и всех очень молодых людей, сбивало с толку очевидное противоречие: весь вид юной женщины говорил о том, что она созрела «для этого», а между тем эти существа вели себя так, словно ни о чём не догадывались, словно никакой любви и чувственности не существовало; был ли это стыд, гнёт репрессивной морали, расчётливая тактика – или Ира в самом деле ни о чём таком не помышляла?

Марик завидовал девушкам, не подозревая о том, что округлившиеся формы, которых не скроешь, могут подчас причинять такие же муки. Позу презрительной независимости он принимал за чистую монету. Получалась странная вещь: если девицы были снедаемы тайным беспокойством, всё ли у них «в порядке», если они готовы были часами разглядывать себя в зеркалах, не упускали ни одной витрины, утешаясь зрелостью своих форм и вновь отыскивая изъяны, если с придирчивостью, не знающей снисхождения, с завистливой наблюдательностью оглядывали друг друга, у одной находили кривые ноги, у другой плоскую грудь, – то мальчики испытывали стыд и неловкость именно оттого, что стали мужчинами.

Мелькало ли у него хоть изредка подозрение, что от него ждут большей решительности? Эх, ты. В затуманенном взгляде Иры как будто сквозил упрёк. Немое поклонение надоедает. С чисто женской зоркостью она отметила, что Марик смотрит на неё не так, как «надо», не оглядывает её, как подобало мужчине, и почувствовала к нему жалость: Марик попросту ничего не видел. На самом деле Марик видел её лицо, видел её сразу всю; однажды вздрогнув от неожиданности, как от спички, вспыхнувшей в неумелых пальцах, он больше не разбирался в подробностях. Так близорукий любит пейзажем, так простодушный читатель воспринимает книгу целиком, не замечая красот стиля, не умея оценить композицию целого и отдельных глав.

Да, но она могла думать совсем о других предметах! Очень может быть, что она вовсе не помышляла о нём. Марику нужно было прожить на свете ещё столько же лет, сколько он прожил, чтобы научиться угадывать мысли женщин. Он убедился бы, что мысли эти чаще всего не отличаются оригинальностью.

Между тем зловещая репрессивная мораль не допускала даже мысли о том, что могло бы произойти, если бы Марик набрался отваги и перешёл в наступление. Стоп! Полосатый шлагбаум перекрыл дорогу в солнечные страны чувственности. Отдавал ли себе полуподросток второй половины сороковых годов вообще сколько-нибудь внятный отчет, что собственно является «целью», не был ли для него половой акт профанацией любви? Как ни удивительно (а впрочем, не удивительно), мальчики оказывались консервативней девочек. В то же время викторианский этикет предписывал отношение к женщине как к *être-objet*.<sup>1</sup> Коммунистическая мораль провозгласила равноправие полов, но при этом неявно навязывала женщине роль пассивной стороны. *Шагать с мужчиной в одном строю*. Это ведь не то же, что рекомендовать мужчинам шагать в одном строю с женщиной. Быть может, – подчиняясь той же морали, – Ира в самом деле чего-то ждала. По крайней мере, ждала внятного объяснения. Ждала в этот вечер, ждала завтра. Потом... как бы это выразиться? Перестала ждать. Каждодневные встречи в университете, рутина занятий, привычные шуточки, какой-то порхающий,

---

<sup>1</sup> одушевленному предмету (*фр.*)

приятельский, пошловатый тон сделали своё разрушительное дело. Игра, лишённая необходимой тактики обороны, игра без риска, словно игра в шахматы, где нет опасности получить мат, лишалась смысла.

Вечер длится, вечеру нет конца, жёлтые шары сияют под высокими потолками, исполинские гипсовые кумиры осеняют со своих пьедесталов широкую лестницу, тускло отсвечивают выкрашенные под мрамор колонны, наверху розоватые, цвета бледной моркови, внизу серые, как ливерная колбаса или суррогатное кофе с молоком. Сторожиха в тулупе дремлет на своём посту за столиком под аркой с часами. Марик бодрствует наверху.

Он стоит, прислонясь к колонне, опираясь локтем на плоский край балюстрады, щека подперта ладонью. Одна и та же мелодия без конца прокручивается в оцепенелом мозгу, волшебный, баюкающий звукоряд: «Утро в горах». *Нáрара, рáрара. Нáрара, рáрара.* А ещё – монотонно позванивая, постукивая, бодрым баском-говорком: *Был обеспокоен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет...* «Песенка ночных бомбардировщиков», ансамбль под управлением Леонида Утёсова. И опять Григ. Всё опустело, всё умерло, в коридорах темно. Мысли, звуки плывут над головой. Облачно-слизистые существа, крохотные монстры – голова и хвост барахтаются в мутной светящейся влаге. Он ждет, когда, наконец, закроется читальный зал.

Что же мешает ему войти в читалку, сесть напротив? Стыд, робость, боязнь быть назойливым, а может быть, гордость? Ира знает, что он ждёт, и нарочно тянет время. Значит, не забыла, что он ждёт. Это испытание верности. Бесконечно тянется поздний вечер. Последние студенты-зубрилы уныло спускаются по лестнице, пробудившийся Марик вперил байронический взор в пространство, – она должна увидеть его надменный профиль, его равнодушный, его отрешённый профиль, и вот, наконец-то: она появляется в дверях, он замечает её краем глаза. Не удержавшись, поворачивает голову, проклятье, это не Ира. В опустевшем зале Марик бредёт между столами, подходит к усталой библиотекарше. Его не удостоивают ответом. Иры нет, и неизвестно, как, когда она ускользнула. Шары под сводчатым потолком померкли, свет горит только внизу.

## 11. Шествие Марика Пожарского по ночному городу

Марик сбежал вниз по лестнице с чувством, похожим на радость висельника, нагло насвистывая: *Мы летим, ковыляя во мгле! Мы летим на последнем крыле! Завораживающая мелодия. Всё пропало. Бак пробит, хвост горит, но машина летит. Ступенька, еще ступенька. Машина летит! На честном слове и на одном крыле. Мужественно-расслабленным говорком, с англосаксонскими синкопами:*

Ну, дела! (Там, та-та́м). Ночь была....

Всё объекты разбомбили мы до тла. (Та́т, тарам!)

Мы ушли, ковыляя во мгле.

Он шагает по влажно поблескивающему тротуару. На чёрном небе восходят малиновые светила. Город принимает его в свои объятия. Город, где только и можно жить. Фантастический, единственный в мире. Где всё вместе, эпохи и страны, Византия, Италия, Золотая Орда и Герцен с Огаревым, орлы на круглых щитах над воротами и подъездом, будка милиционера – посольство вчерашних друзей и союзников, перед которым не рекомендуется останавливаться, а вот мы возьмём и остановимся; и напротив, по ту сторону пустынной площади Манежа, за тёмной оградой Алексан-

дровского сада и зубчатой стеной купол дворца, над которым в космическом небе, в призрачном сиянии плещется флаг, чёрный с кровавым отливом. Всё вместе, рядом, одно к одному. И где-то там, за светящимся окном, кабинет Вождя. Лампа на столе, и какой-нибудь персидский, шамаханский ковёр, по которому он неслышно расхаживает в своих штанах с лампасами, заправленных в сапоги.

Там ли он? Остаётся ли он ещё человеком из плоти и крови?

Дальше, дальше... там подъезд Колонного зала, там Аполлон над четвёркою мраморных лошадей, в пахучей тёмной ночи сверкающая надпись над крышей ЦУМа: *Слава народу-победителю!* И везде, во всём одна и та же великая, зловещая и вдохновляющая тайна. Марик Пожарский шагает по городу, его шествие напоминает плаванье Зигфрида по Рейну, напоминает шаги командора, напоминает напоминает ночной смотр. Он идёт пешком, ему далеко идти.

Вся команда цела,  
И машина пришла  
На честном слове и на одном крыле.

Поздно; гаснут фонари. В это время в старом арбатском доме Ира давно уже спит в своём закутке, подложив руку под щеку, антикварный шкаф отгораживает её от родителей. Станным, даже абсурдным, не правда ли, покажется сравнение магнитного поля восемнадцатилетней барышни с другим, мощнейшим излучением, которое ощущали все от мала до велика. С полем высокого напряжения, чьё смертоносное действие мог выдержать только тот, кто родился в нём или десятилетиями привыкал к его шелестящему присутствию.

И всё-таки, всё-таки... *Мы летим, ковыляя во мгле.* Юность сумела уравновесить воздействие двух полей, юность ухитрилась не замечать грозного шороха и потрескивания. Как лунатик не знает, что может споткнуться и упасть с высоты, так юность не подозревала о страшной опасности, подстерегавшей её на каждом шагу.

Но какой ценой, чем было куплено это шаткое равновесие? Любовь к тому, кто, скрывшись от всех, присутствовал всюду, чьи портреты давали не более адекватное представление об оригинале, чем иконы и фрески – о реальном облике божества, любовь к Вождю-Спасителю, которому молодые были обязаны своей молодостью, старики своей старостью, нищие своей нищетой, богачи богатством и в конце концов все и каждый – тем, что они живут, – не размагничала ли эта любовь половую энергию? Кого нужно больше любить: Вождя или подругу? Конечно, Вождя! Женщина «отвлекает».

Люди старшего поколения помнили времена, когда он был человеком из плоти и крови. Чего они больше не могли вспомнить – когда и как влечение к Вождю начало заменять влечение к противоположному полу. О каком противодействии могла идти речь? И всё же, возвращаясь к Марику, мы можем сказать, что любовь к Вождю (или её остатки) была в конце концов перечёркнута. Чем? Любовью к Ире, чем же ещё.

Был обеспокоен очень  
воздушный наш народ.  
К нам не вернулся ночью  
с бомбёжки самолёт.

## 12. Вождь в двенадцать часов ночи

Никто не знает, что в этот час вблизи опустевших улиц, по которым бредёт Марик Пожарский, в клинике для особо почётных больных, нарушая режим, в своей палате с цветами, с картиной на стене, письменным столом и диваном для посетителей сидит знаменитый человек, великий артист или, точнее, режиссёр. Лампа с молочным абажуром освещает его бессонную всклокоченную голову. Синяя ночь дышит из приоткрытой фрамуги. Дорогой товарищ Сталин. Так принято, так требует этикет, говорят, он сам любит, чтобы его так называли.

Но с такими словами может обращаться к Вождю какая-нибудь доярка, так адресуются всё – в воздух, в пространство, к великому портрету, с рапортом и славословием; а он – отнюдь не «все», и писать собирается по сути личному, но вместе с тем и государственно-важному делу, пишет, чтобы тот прочёл. Дорогой – и дальше по имени-отчеству? Этикет не предусматривает такую форму. Но и не запрещает. Всё дело в том, что в ней заложен особый смысл, в ней заключена уже некоторая степень доверительности, как бы намёк на близость и даже симметрию: великий артист и Вождь. Вергилий и Август. Властители знают цену искусству, ибо только искусство сохранит их имя в веках, художник же, в свою очередь, нуждается в верховном покровительстве; оба, страшно сказать, но ведь это действительно так, оба – зависят друг от друга.

*Дорогой...* – и, подержав на мгновение в воздухе золотой Паркер, он выводит имя и отчество.

Далее – этикетное извинение за причиняемое беспокойство.

*Я до сих пор...*

Это «я», конечно, большая дерзость, «я», которым начинается абзац и всё письмо; что это ещё за «я», спросит Вождь, какое такое «я»? Но художнику, которого знает весь мир, позволительно говорить от собственного имени.

*Я до сих пор не писал Вам...*

Больной задумался. Получается, что он берёт на себя не только право писать к Вождю, но даже право самому решать, когда ему воспользоваться этим правом. Вождь может сказать: зачем вовремя не обратился ко мне? Почему скрываешься от меня?

*Я до сих пор не писал Вам, чувствуя и зная, как сильно Вы заняты...*

Все знают, что Вождь занят. Но художник это ещё и чувствует – своим особым, пророческим чутьём.

*...как сильно Вы заняты и перегружены серьёзнейшими государственными делами. Но ведь и художник занят важнейшим государственным делом.*

*...как сильно, та-та-та... государственными делами. Однако, поскольку меньшей нагрузки для Вас в ближайшее время не предвидится...*

Вождь оценит эту шутку.

*...я всё-таки берусь написать Вам.*

Тяжёлый вздох. Теперь – к делу. Пора брать быка за рога.

*Дело идёт о Второй серии.*

Разумеется, нет никакой необходимости напоминать Вождю, что это за Вторая серия: он в курсе дела, он внимательно следит за этой работой.

*Мы настолько торопили завершение к началу этого года, что сердечные спазмы, появившиеся у меня от переутомления, в свою очередь завершились сердечным припадком (инфаркт), и вот я уже четвёртый месяц нахожусь в больнице.*

Человек со вздыбленными волосами снова вперил взгляд в пространство, ему пришли на ум стихи народного поэта, другое Слово к Вождю. Как бы вылившееся прямо из сердца, непроизвольное. Искусно имитирующее бесхитрость и в самом

деле бесхитростное, продиктованное чувством, которому, в свою очередь, кое-что продиктовали. Впрочем, самое известное стихотворение последних лет.

Оно пришло, не ожидая зова.  
Оно пришло, и не сдержать его.  
Позвольте ж мне сказать Вам это слово...

Поэт прекрасно понял свою роль, она состояла в отсутствии какой-либо роли, какого бы то ни было задания. А вот просто так, и ничего не поделаешь, пришло, и не сдержать его. Пусть другие изобретают искусные рифмы, стараются удивить смелой метафорой. *Простое слово сердца моего*. Хитрый простачок. Его наивная восторженность, его простодушная, крестьянская, пастушеская искренность такова, что он доходит до невозможного, только вдуматься – он говорит: мы так Вам верили! *Как, может быть, не верили себе*. Что это значит? Неужели он хочет сказать, что «мы» уже потеряли веру, оставалось разве только поверить Вождю?

Режиссёр размышляет о том, что его назначение иное. Он не лежит, повергшись ниц, истекая благодарностью, у сапог Вождя. Он – Художник. Вождь может выказывать недовольство, Людовик XIV тоже был порой недоволен Мольером. Вождю может понравиться его смелость, он может критиковать его, всё это – то, что можно назвать внешним диалогом Вождя и Художника. Но существует внутренний, неслышный для окружающих, неизвестный современникам разговор, который они ведут наедине друг с другом, и тут они – на равных. О, как тяжело это бремя, как тяжко давит плита на груди.

### 13. Интермедия в костюмах эпохи

В эту минуту (больной лежит на высоких подушках, руки поверх одеяла, грудь открыта, крохотная таблетка под языком, капли пота на лбу, знакомая история, не хочется вызывать сестру, не дотянуться до кнопки сигнала, боязно шевельнуться, кажется, нитроглицерин начал действовать, болит голова, это хорошо, главное – не поддаться, медленно, равномерно, глубоко втягивать воздух), – в эту минуту он отчётливо, так что потрескивают седые волоски на груди, испытывает лучевое воздействие Вождя, дрожание электромагнитного поля. Там тоже не спят. Вождь шагает по ковру в своём кабинете, из угла в угол, и, может быть, в эту минуту подошёл к высокому окну, смотрит на спящий город в редких огнях, под сенью красных, как леденцы, звёзд, – и думает о Художнике. Впервые с такой отчётливостью, физически, животом, мошонкой, режиссёр ощущает связь между собой и Вождём. Поле Вождя заряжено сексуальной энергией. Ему кажется, что сейчас произойдёт эрекция. Кстати, он всегда был чувствителен к красоте и могуществу мужчин.

И Вождь, несомненно, сознаёт эту близость. Вождь его поймёт. Он разрешит все трудности. Ведь это и его собственные трудности. Легче дышать. Мысли вернулись к незавершённой Второй серии. Шаги в коридоре. Это идёт дежурный врач.

Со слабым скрипом, с пением открывается белая дверь палаты, входят рынды в высоких шапках, в белых кафтанах со стоячим воротником и сафьяновых сапожках с загнутыми носками, серебряные топорики на плечах. Становятся по обе стороны у косяков. Входит, стуча посохом, вбивая наконечник в пол, покачивая набалдашником, огненноглазый, косматый, жидкобородый, татарообразный царь Иоанн IV Васильевич, это артист Черкасов. Великолепно найденный типаж.

Как его пропустили в этот час, спрашивает больной.

Царя – и не впустить! – удивляется Черкасов.

Должно быть, узнали. По Первой серии.

Может, скажешь: по картинке в учебнике? – ухмыляется гость.

Впрочем, ты ещё до войны прославился, замечает больной. *Жил однажды капитан...* Паганель, «Дети капитана Гранта», бирюльки.

Кто-то услужливо придвигает кресло. Царь Иван усаживается возле постели, теперь он в длинной холщёвой рубахе. Согнутый в три погибели, тощая шея торчит между ключицами, борода вперёд, длинные плоские волосы, смазанные лампадным маслом, закрывают уши, рука высоко над головой висит на посохе.

Не знаю, говорит, никакого Паганеля. Не ведаю никакого Черкасова, не учён. А тобою недоволен.

Величественно-скрипучий, насморочный голос, великолепный актёр. Режиссёр одобрительно кивает. Жестом вносит небольшие поправки. Чем бы ты был без меня, думает он. Эстрадным фигляром. Ты – моё творение. Дитя моей фантазии, моего творческого гения.

Царь пронзает его огненным взглядом. Меня слушай! Али глухой?.. Недоволен я, шибко недоволен.

В чём дело, иронически осведомляется больной. Глубокая ночь, город спит, в палатах спят пациенты, писатели, генералы, ответственные работники аппарата ЦК, рядовых людей здесь нет, в просторном полутёмном коридоре бодрствует за своим столиком перед лампой с черным абажуром, перед щитком с лампочками палат ночная сестра, дремлют дежурные врачи в своей комнате, опустив голову, сидит лифтёр в освещённой кабине, тишина, ничто не мешает их разговору.

*Сейчас опасность миновала, и в ближайшее время я перехожу на санаторный режим.*

*Физически я поправляюсь, но морально меня очень угнетает тот факт, что Вы лично до сих пор не видели картины, уже готовой...*

Видал, как же, говорит Черкасов, члены Политбюро мною довольны. А вот тобою – лично я, – и он качает масляной головой, – нет!

*Картина является второй частью задуманной трилогии... сюжет строится вокруг боярского заговора и преодоления царём Иваном крамолы.*

Какой-нибудь Ромм, какой-нибудь Большаков или это ничтожество Александров могли на него клепать, но царь – чем же он недоволен?

Кому, стонет самодержец, воздев костлявые руки, борода вознеслась вверх, очи к потолку, кому – и яростно осеняет себя двуперстием – доверю Русь? Кто довершит моё дело, истребит под корень бояр?

Ему! Он мой потомок, моя кровь.

Больной поднимает голову с подушек, напрягает лоб, это уже что-то новое.

Али не знал? Мой и орлицы моей Марии Темрюковны, черкешенки, царство ей небесное (снова размахисто крестится), единородный сын, именем Димитрий, Димитрий Иоаннович, да не тот, не тот, что в Угличе... Не сгинул, не отравлен, а тайно укрывшись в кавказских горах, и вот теперь... От Димитрия он... Да только не хватит, как я вижу, твёрдости, некому подсказать... давно пора, весь народ пал бы ниц перед ним.

Он и так пал ниц, заметил режиссёр.

Мало! Венчаться надо на царство, как положено. Шапку Мономаха, да не из рук патриарших, дрожащих рук, – самому на себя возложить. Как я в Первой серии.

Тишина, всё спит, и Художник, которому осталось жить несколько минут, прислушивается к стуку посоха, к шаркающим, затихающим шагам.

## 14. Words, words, words <sup>1</sup>

Пронеслись дожди, деревья стряхнули остатки листвы, и, как чудо, возможное только в этом городе, наступили тихие, тёплые, скопчески-опрятные дни. Как будто осень, отряхнувшись от мусора, оставленного некультурными постояльцами, по-стариковски наслаждалась покоем и тишиной в опустевших хоромы. Ни одного пожухлого листика не осталось на чисто выметенных дорожках Александровского сада, кругом ни души, тускло поблескивал песок, за оградой урчал и бормотал город, бледноголубое небо стояло над византийскими башнями, и за стеной, мелькая между ласточкиными хвостами зубцов, разгуливал часовой.

Они уселись на скамейке, подошёл, хромая, палка под мышкой, с кульками мороженого Юра Иванов. Ира расстелила платочек, отколупнула серебряную обёртку и разложила брикетки плавленого сыра. Юра вынул складной нож. Марик Пожарский глотал слюны, следил, как женщина нарезает батон.

Марик стоял, что-то дожёвывая, за его спиной виднелся купол дворца с повисшим флагом. Девушка и ветеран сидели по обе стороны от платка с крошками хлеба, комками сладкой бумаги, обрывками станиоля. Иванов извлёк из заднего кармана брюк шикарную коробку: чёрный джигит на фоне сине-серебряных гор. Ира собрала в кучку остатки еды, приподняла уголки платочка. Она держала платок в воздухе, словно приз. Марик поплёлся вытряхивать мусор в урну. Иванов помалкивал, сверкал стёклышками, важно курил, положив на трость негнущуюся ногу, держа длинную папиросу между средним и указательным пальцами.

«А мне?» – сказала она.

Он протянул ей раскрытую коробку. Ира выудила папиросу и вставила между губами. Большим пальцем Иванов крутил колёсико зажигалки. Кончился бензин. Его рука потянулась в карман за спичками.

«Ты, – пробормотал Марик, как-то вдруг заволновавшись. – Что-то было в этой игре опасное и щекочущее, что-то шевельнулось во тьме сознания в ту минуту, когда бледные губы Иры сжали картонный мундштук. – Ты того, не затягивайся... Дай-ка мне!»

Из осквернённых губ Иры папироса-фалл перешла к Марику, словно совершался некий обряд.

Он разглядывал нож, на костяной ручке выцарапано нерусское имя.

«Это что, – спросил он, с Казбеком в зубах, перхая и давясь от кашля, – трофей?..» Он попробовал, положив ладонь на скамейку между собой и Ирой, колоть острием между растопыренными пальцами.

«Это мне один подарил», – сказал Иванов небрежно.

«Немец?»

«Какой немец. С мичманом махнулись. Он мне этот, я ему свой... Брось. Дай-ка нож».

Иванов стал быстро и ловко стучать ножом между пальцами.

С закрытыми глазами Ира подставила лицо бледно-жёлтому свету с небес, вздохнула:

«Мальчики, мне пора...»

«Образцовая зубрилка, вот с кого пример надо брать».

Юра спросил, постукивая ножом:

«Ты всегда занимаешься в читалке?»

---

<sup>1</sup> Слова, слова, слова... («Гамлет»)

«Дома негде приткнуться...»

И в это время чья-то фигура показалась в конце аллеи. Человек остановился перед обелиском революционеров.

Ира – не поднимая ресниц:

«Почитай что-нибудь».

Марик, которому ужасно хотелось читать свои стихи, делал вид, что не слышит, изучал погасшую папиросу, швырнул прочь.

«Он поэт», – сказала Ира.

«Слыхали».

«Между прочим, в клубе есть поэтическая студия».

«Знаю», – сказал Марик.

«Ты там выступал? Прочти что-нибудь новенькое».

«У меня нового ничего нет. Я вообще перестал писать».

«У поэтов это бывает», – заметил Юра.

«После Блока, – сказал Марик, – поэзия кончилась».

«Как это кончилась?»

«А вот так. Один Исаковский остался».

«А что, – сказал Юра, – поэт как поэт».

«Да ещё Симонов».

«Что ты хочешь этим сказать?»

Ира:

«Прочти то, что ты мне читал. Про зарю».

Марик уставился в пространство. Человек вдали не то стоял, не то приближался, как будто перебирал ногами на одном месте, и вдруг пропал.

Иванов:

«Ты, стало быть, единственный настоящий поэт».

«Возможно».

«Та-ак. Ну, валяй, послушаем единственного».

Марик вздохнул, огляделся, прочистил голос и начал читать, помогая себе кулаком.

«Н-небо! В-вывесит...»

При этом он слегка подвывал, как будто сидел в кувшине.

Тёплый, тихий, бездыханный день, одинокий странник вдали на чисто выметенной аллее, бледный луч между безлистыми сучьями, стрелец на древней стене.

Небо вывесит утром цветную зарю.  
Пусть на стыке больших осиянных дорог  
Развевается платье твоё на ветру,  
Развевается платье твоё на ветру,  
Обнажая изваянность ног.

Я останусь стоять возле серой тоски  
У скелета замученных дней,  
Только пусть простучат об асфальт каблуки,  
Только пусть простучат об асфальт каблуки,  
Чтобы знать о дороге твоей. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Стихи Якова Серпина (1929–2002).

## 15. Обсуждение

«М-да, – сказал Иванов. – Ничего себе...»

Воцарилось молчание, оттого ли, что стихи произвели впечатление, или оттого, что не произвели никакого впечатления. Юра Иванов посвистывал, поглядывал по сторонам, свист перешёл в мурлыканье.

«Это что, немецкая песня?» – спросил Марик.

Ответа не было. Иванов мурлыкал. Потом громче:

«Vor der Kaserne, vor dem großen Tor!»

«Ну, и нечего здесь, – сказал Марик, – фашистские песни распевать».

«Её все пели, и там, и здесь. И немцы, и англичане, вообще все.

Wie einst Lili Marlen!

Wie einst Lili Marlen. <sup>1</sup>

Хотите, ещё спою.

O, Hedwig! O, Hedwig!

Die Nähmaschine geht nicht...» <sup>2</sup>

«Ну, я пошёл», – объявил Марик.

«Куда? Сидеть».

«А чего тут делать...»

«Тебе неинтересно наше мнение?»

Поэт сделал неопределённый жест, пожал плечами.

«Слушайте, – проговорила Ира, – это ведь он...»

«Кто?»

«Былинкин».

«Тебе померещилось. Чего ему тут делать?»

«А я говорю, он. Эй!» – и она замахала рукой.

«Зализывает раны», – сказал Марик.

«У меня вот какой вопрос, – сказал, вальяжно развалившись на скамейке, Юра Иванов, – может быть, я неправильно понял...»

«Конечно, неправильно», – быстро сказала Ира, не сводя глаз с быстро удалявшегося человека.

«Между прочим, я ещё не спросил!»

«Ты лучше скажи своё мнение. Тебе нравится?»

«М-м. Вообще-то ничего. Но отдельные выражения...».

«А мне нравится», – сказала она, встряхнув кудрями.

«Вот, например, как это понять...»

«Слушай, Иванов...» – сказал Марик.

«Ива́нов», – поправил Иванов.

«Хорошо, пусть будет Ива́нов».

Стихи висели в воздухе. Стихи, как осенние листья, упали в воду и медленно поплыли прочь. Ветеран восседал на краю скамейки, положив протез на палку. Поэт

<sup>1</sup> Перед казармой, в свете фонаря...

С тобой, Лили Марлен... («Лили Марлен», пер. И.Бродского)

<sup>2</sup> Шлягер сороковых годов.

каменел посредине. Барышня помещалась поодаль, но на таком расстоянии, чтобы не разобидеть Марика окончательно; непринуждённо и, однако, ни на мгновение не забывая о том, что она сидит как подобает, грудь слегка выставлена, колени вместе, полуприкрытые краем платья между полами слишком лёгкого пальто.

Нужно было разрядить обстановку. Она проговорила:

«Мальчики, а это правда, что...?»

## 16. Эпоха персональных дел

Произошло разоблачение Былинкина. Кто-то обронил это слово, курящееся ядовитым дымом: «разоблачение».

Былинкин числился студентом русского отделения, но не имел времени для учёбы. Былинкин был знаменитой личностью, секретарём бюро, членом комитета, состоял в комиссиях, выступал на собраниях, был облечён множеством почётных обязанностей, дневал и ночевал на факультете; это был хилый мальчик двадцати пяти лет, с впалой грудью, с хохолком волос на темени, с планкой орденов на пиджаке, где-то в лесах Белоруссии сражался в партизанском отряде.

Специальностью Былинкина было разбирательство персональных дел, и можно сказать, что особым коварством судьбы было то, что он сам стал жертвой разбирательства. Что такое персональное дело, было понятно всем, хотя и держалось в тайне до того времени, когда всё было решено и оставалось лишь начертать: *Персональное дело такого-то*, третьим пунктом повестки дня. Тогда-то и наступал час, когда блистал Былинкин. Он вёл допрос, предлагал товарищам высказаться, подытоживал факты, вносил предложение: поставить на вид. Самое лёгкое наказание. Или: строгий выговор с занесением в личное дело, это уже серьёзней. Или: поставить перед райкомом вопрос об исключении из комсомола – что означало полный крах, костей не соберёшь, а может, ещё хуже.

Факультет помещался на четвёртом этаже Старого здания; миновав крохотную переднюю, попадали в коридор, по которому некогда прохаживался Герцен под ручку с Огаревым. По которому шествовал юный, страшно серьёзный, в волнообразных кудрях и с немецким Гегелем под мышкой, Станкевич. Теперь по нему пробегал с толстым портфелем член комитета и секретарь бюро Игорь Былинкин. Из коридора попадали в небольшой, прямоугольником, зал, за ним какой-то закуток, окно с низким подоконником, уборная, служившая курительной комнатой, местом отдохновения и раздумий о смысле жизни. Далее, повернув направо, ещё один коридор с окошечком кассы, где платили стипендию, с дверями парткома, профкома, секретариата, деканата. Но вернёмся в зал.

Рядом с расписанием лекций и семинарских занятий, на кнопках, на булавах, на чём попало висели объявления, кому-то назначали встречу, кто-то потерял очки (было дописано: «и голову»). Две других стены занимала клеенная из многих кусков факультетская стенная газета «Юность» с девизом-подзаголовком: «Шагай вперёд, комсомольское племя». После знамён, репортажей, патриотических и критических статей – отдел сатиры и юмора, многорукий, как Шива, фотоколлаж, и в каждой руке по портфелю, подпись в стихах: *И куда ты ни пойдёшь, там Былинкина найдёшь*. Былинкина ожидало блестящее будущее. Как вдруг это случилось.

Марик заметил, что это уже не секрет.

Но ведь ещё неизвестно, сказала Ира.

Если не секрет, возразил Юра Иванов, зачем тогда спрашивать.

«Пока ещё не решено, – сказал он. – Будут разбирать. Сперва на бюро, потом в райкоме».

«Ты ведь тоже член бюро», – сказала Ира. Слегка поёрзав на скамейке, положила ногу на ногу – открылась коленка, обтянутая чулком, она укрыла её полами пальто.

Она спросила:

«А как же курсовое?»

«Это в райкоме будут решать. Разрешат, значит, будет курсовое собрание».

«Закрытое?» – спросил Марик Пожарский, который думал, как всегда, и о том, что говорилось, и о чём-то далеком.

«Само собой».

«У вас всё закрытое, – съязвил Марик. – Все знают, и всё равно закрытое».

Былинкина перестали видеть в коридоре. Слух оброс подробностями. Слух распустился, как куст, осыпанный ядовитыми цветами. Якобы свалился с неба некто с костылём, из деканата был направлен в секретариат, на другой день явился в бюро комитета. Предъявил книжку: «В едином строю», очерки о боевых операциях партизанского подполья в Могилёве, автор Игорь Былинкин. Нам эта книга известна, сказали ему, ну и что? Он самый, возразил приезжий. Произошло некоторое замешательство, человек с костылём утверждал, что они с Игорем старые знакомые, можно сказать, родственники. Былинкин приехал в Агрыз с эвакуированными, был назначен заведующим клубом. В 44 году отбыл: вроде бы на родину, в Могилёв.

Когда отбыл?

Зимой, перед Новым годом.

Попрошу товарищей выйти, сказал секретарь партийного комитета. Значит, продолжал он, оставшись наедине с приезжим, вы утверждаете, что Былинкин якобы не был в партизанском отряде, а якобы находился все эти годы... я вас правильно понял?

Так точно, отвечал колченогий человек.

А вы знаете, спросил секретарь, что значит очернить имя советского патриота?

Правильно, сказал с костылём, только это не моё дело, это вы уж сами разбирайтесь.

Разберёмся, сказал секретарь, а вы, собственно, кто такой? Приезжий отвечал, что он уже объяснял, кто он такой, и что они его целый год разыскивают. Кто – они? Семья, кто ж ещё, сказал приезжий. Что за семья и с какой целью, продолжал допытываться секретарь. С какой целью, переспросил приезжий и переложил костыль из правой руки в левую. А вот с такой целью: оставил девушку в деревне, с ребёнком. А я её брат. Вот мы все и приехали. Так-так, задумчиво проговорил секретарь. Все вместе. Уезжать не собираетесь? Приезжий развёл руками. Попрошу, сказал секретарь, пока о нашем разговоре никому не сообщать.

На другой день было созвано бюро.

«Вы инвалид Отечественной войны?» – спросил секретарь. Оказалось, нет, нога покалечена с детства. Поинтересовались документами: паспорт как паспорт. Прописан в селе Агрыз, Агрызского района Татарской АССР. Справка с места работы, предусмотрительно запасённая приезжим: военрук районной средней школы. Кто-то из присутствующих задал вопрос, а как же обстоит дело с орденами. Имелись в виду боевые награды Былинкина. Как обстоит дело, переспросил хромой. Да я вам на базаре сколько хочешь этих орденов куплю. Я думаю, вмешался секретарь комитета, нам сейчас незачем поднимать этот вопрос.

«Вот что, – сказал он, твёрдо глядя в глаза приезжему, – вы поезжайте спокойно домой, мы разберёмся и сделаем соответствующие выводы».

«Как же так...» – заволновался агрызский военрук.

«Поезжайте. Сколько сейчас ребёнку? Годика ещё нет? Ну, вот видите. Поезжайте. Мы всё выясним. Напишите заявление, сестра пусть тоже подпишет, и пришлёт нам... Обратный билет у вас есть? Надо будет, – сказал секретарь, – заказать товарищу такси. Вы где остановились?»

## 17. Диспут на рискованную тему

Думается, сказал секретарь, выражу общее мнение товарищей...

Инцидент не должен выходить за рамки. Есть мнение, что торопиться не следует. Надо поднять личное дело, связаться с военкоматом.

Кто-то намекнул: а не поставить ли в известность... м-м? Холодок пронёсся над сидящими. Секретарь загадочно взглянул на спросившего, не сказал ни да ни нет и заключил своё выступление так:

«Сделаем всё что от нас зависит. После предварительного выяснения передадим на рассмотрение комитета комсомола. Думается, не надо перегибать палку. Если факты подтвердятся, наказать со всей строгостью, но подумать о сохранении ценного работника».

«На базаре, так и сказал?»

«Не знаю. Я там не был».

«Где?»

«На заседании».

«А у тебя, – спросил Марик, – тоже есть награды?»

«Есть», – мрачно ответил Иванов.

«Почему ты их не носишь?»

«Знаешь что, – сказал Иванов. – Пошёл ты знаешь куда...»

Он добавил:

«Ты что, не понимаешь, что такие вещи на открытое обсуждение не выносятся?»

«Ну, значит, меня туда не пустят. Да я и сам не пойду», – сказал Марик и встряхнул буйной головой.

«Почему это ты не пойдёшь? Если будет общее собрание, пойдешь. Это твой долг».

«Какой ещё долг, я не комсомолец».

«Как это не комсомолец, все комсомольцы».

«А я нет».

«Тебе надо вступать», – сказала Ира.

«Зачем?»

«Надо», – сказала она внушительно.

Марик задрал голову. Обвёл надменным взором пространство, нагие деревья, буро-розовую стену и обелиск в честь великих революционеров.

«Так вот, я вам скажу. Марксизм-ленинизм приказал долго жить», – изрек он.

«Это как понимать?» – усмехнувшись, спросил Иванов.

«А вот так. Война доконала. Ты разве не заметил, что вдруг всё исчезло: классовая борьба, мировой пролетариат...»

«Не заметил. Не до этого было».

«Мальчики, перестаньте...»

«Вместо всего этого – великий русский народ».

«Вместо чего?»

«Вместо всей этой хреновины».

«Ну и что. Он действительно великий».

«Не просто великий, а самый великий. Всё изобрёл. Иностранцы только и делали, что воровали наши открытия. Своровали радио, своровали паровоз».

«При чём тут марксизм?»

«Вот именно что ни при чём. Всё ложь, – сказал Марик вдохновенно. – Ложь и неправда! И нечего притворяться».

«Что неправда?»

«Да всё».

Молчание, зеленые глаза Иры блуждали по окрестностям.

«Много ты понимаешь, – сказал Юрий Иванов. – Что ты всё заладил: правда, неправда... К твоему сведению, неправда...».

«Перестаньте вы, наконец...» – пробормотала она.

«Неправда – это не то же самое, что ложь».

«А что же это?»

«Необходимая версия действительности».

«Ага, вот как!»

«Да. Ты представляешь, что было бы, если бы тебе вот так, в открытую, лягнули: дескать, так, мол, и так, мы говорили одно, а на самом деле всё совсем другое?»

«Значит, по-твоему... по-твоему...» – и Марик злобно расхохотался.

«Что по-моему?»

Марик Пожарский умолк. Ира сидела, раскинув руки на спинке скамьи, с запрокинутым лицом, мерно, покойно дышала ее грудь, и пальто сползло с коленок.

«Геббельс сказал: пропаганда – это власть!»

«Откуда ты это вычитал?»

«Вычитал».

«А ты знаешь, что за такие слова по головке не погладят?»

«За какие это слова?»

«За такие. За то, что ты цитируешь Геббельса. Вообще за всё это».

Марик прищурился, процедил:

«Хочешь на меня настучать, да?»

Иванов сложил руки на груди.

«Ну-ка повтори», – сказал он.

«Что повторить?»

«Повтори, что ты сказал. (Молчание). Сволочь сопливая. Молокосос».

Всё в той же позе, не шевелясь, Ира сидела, подняв к солнцу лицо с закрытыми глазами, и всё растворилось в этом мягком тепле, в жидком сиянии, спор иссяк, обе стороны почувствовали, что *не в этом дело*. Не то чтобы они усмотрели в этом вечное, неисправимое стремление женщины обесценить всякий спор, если он не имел отношения к «жизни». Просто само собой стало очевидно, что дело не в русском народе и не в марксизме-ленинизме. Все это были мыльные пузыри. А дело в том, что она сидит здесь, между ними, и это в тысячу раз важнее всех споров, обсуждений, разоблачений и персональных дел.

## 18. Eritis sicut Deus. <sup>1</sup> Разговор Асмодея с учеником

Слава и гордость факультета, без пяти минут академик, а точнее, член-корреспондент без надежды стать когда-нибудь просто членом, – профессор Сергей Иванович Данцигер, маленький, крупнолицый, румяный, с мощным мясистым носом, густыми белыми бровями, в усах и клиновидной бороде, в чёрной шёлковой шапочке,

<sup>1</sup> И будете, как Бог (знать добро и зло; *лат.*). Бытие, 3, 5; «Фауст», I, 2048.

насаженной на седые кудри, профессор-картинка, профессор-вывеска, дремал подле парторга и пробуждался, лишь когда председатель, скосив глаза на коллег, произносил: «Можете итти». Очередной абитуриент – это был фронтовик на протезе – вышел, девица в крепдешинном платье, справившись со списком, выкликнула следующего, и в комнату вступил на нетвёрдых ногах вчерашний школьник, чуть ли не подросток, в курточке домашнего изготовления и в брючках, которые едва достигали лодыжек. Марик Пожарский окончил школу на один год раньше, чем полагалось, это была идея, поданная учителем Александром Моисеевичем, – подзубрить за лето и сдать осенью экзамены за десятый класс. Марик сдал на пятёрки, но его знания были эфемерны. Вдобавок они страдали односторонностью. Он не сумел ответить на вопрос, заданный секретарём парткома, его спросили ещё о чём-то, Марик барахтался и явно произвёл неблагоприятное впечатление. Но тут обнаружилось, что Сергей Иванович, подобно жирному парню Диккенса, не спит. Это обстоятельство решило судьбу Марика.

Старец спросил, – вопрос, который он задавал всем, – что подвигло молодого человека избрать филологический факультет. И Марик по внезапному наитию продекламировал из «Фауста»:

Ich wünsche recht gelehrt zu werden  
Und möchte gern, was auf der Erden  
Und in dem Himmel ist, erfassen,  
Die Wissenschaft und die Natur.

На что окончательно пробудившийся профессор Данцигер живо отвечивал:

Da seid Ihr auf der rechten Spur.<sup>1</sup>

Наступила пауза, профессор вдохновенно взирал на ученика, затем, спохватившись, покосился на парторга. Секретарь парткома хранил непроницаемый вид, он ничего не понял и ждал, что скажет профессор. «Я думаю, что...» – неуверенно проговорил Сергей Иванович. «М-м?» – отозвался парторг. «Я полагаю...» – «Да, да, конечно», – спохватившись, кивнул парторг, и, хотя ничего более определённого из его уст не последовало, секретарша поставила против фамилии Марика галочку, в конце концов Марик принадлежал к дефицитному мужскому полу, да и собеседование, в сущности, было формальностью.

Марик Пожарский обводит зачарованным взглядом келью учёного чернокнижника, небесную сферу, алхимическую посуду, голову Адама. Некто в рясе учёного доктора, скрыв лицо и голову с рожками под монашеским капюшоном, восседает на стуле с высокой спинкой, перед своим пультом. Славное имя профессора Данцигера, знаменитый университет...

## 19. Картофель Третьего Завета

Имя – это судьба, и никто охотней не согласился бы с этим утверждением, чем сам профессор Данцигер. Среди щелчков и уколов, которым судьба наградила его время от времени, худшим унижением в эпоху необычайно возросшего патристического самосознания была необходимость внушать начальственным лицам, что фамилия его отнюдь не связана с национальностью, о которой, как о дурной болезни,

<sup>1</sup> (Ученик): Желаю стать настоящим учёным, объять всё, что есть на небе и на земле, постичь природу и все науки. – (Мефистофель): В таком случае вы на верном пути.

не полагалось упоминать. Правда, имя и отчество были безупречны. Но, как известно, эта нация умеет маскироваться. В анкете профессора Данцигера стояло: русский. Тоже не довод. Наконец, с чисто филологической точки зрения, корневая часть этой фамилии, как, впрочем, и сомнительный суффикс, выглядела непристойно. Особенно теперь, когда бывший Данциг принадлежал Польше. Что же это получается: если не еврей, значит, немец?

У Сергея Ивановича были враги. Он знал, что у него есть враги. Завистники, дай им волю, не побрезгуют любой демагогией. Было чему завидовать. Импозантная внешность, солидная репутация в учёных кругах, имя на обложке общепризнанного учебника. Наконец, и, может быть, прежде всего, безукоризненная лояльность. Предыдущая глава могла подать повод к тому, чтобы заподозрить его в сношениях с духом отрицанья и сомненья. Профессор Данцигер ничего не отрицал и не подавал повода к тому, чтобы обвинить его в сомнениях. Лояльность требовала подтверждений; в те времена лояльность именовалась общественной работой. Работа состояла в том, что он неизменно заседал на торжественных собраниях. Его академическая ермолка возвышала сидящих за красным столом президиума в их собственных глазах, густой благородный голос Сергея Ивановича Данцигера с несколько старомодным прононсом придавал особый вес его словам, когда он выступал с сообщением о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с Вождём, «кто за то, чтобы принять...» – и первым поднимал руку, и то, что он был беспартийным, в глазах ответственных лиц имело даже положительное значение.

Но в звуке этого имени содержался ещё один сомнительный обертон, присутствовало нечто в самом деле двусмысленное, имя напоминало о том, кого никто больше не помнил или, по крайней мере, помалкивал о том, что помнил. Был ещё один Данцигер, Фёдор Владимирович, которого, собственно говоря, надо было бы называть Вильгельмовичем, но откуда же у Сергея Ивановича оказалось другое отчество? Этот вопрос нужно поставить в связь с бурным и смутным временем, когда изменилось всё, вплоть до названия страны. Давно сгинувший Федор Владимирович, увы, приходился Сергею Ивановичу родным братом. Брат был гордостью и проклятием. Брат был знаменитый философ, мистик-рационалист, изобретатель христианства Третьего Завета, оппонент отца Павла Флоренского, архимандрита Серафима Высоцкого и других; оратор, спорщик, говорун, ценитель и пожиратель севрюжьей ухи в Религиозно-Философском обществе, облитых мыслом блинов с икоркой в ресторане Литературно-художественного кружка, истинное олицетворение мыслящей, избалованной и уже малость *gâtée*<sup>1</sup> России 1913 года. Полная противоположность скромному и осмотрительному младшему брату.

Грянула война, Сергей Иванович получил приват-доцентуру в Петербурге, переименованном в Петроград. Фёдор же Владимирович очутился на австрийском фронте и оттуда вновь привлёк внимание публики патриотическими «Письмами капитана артиллерии». В роковом Семнадцатом году, как видный член партии к.-д., вместе с Гучковым и Шульгиным по заданию Временного комитета Думы (все тогда было временным) Федор Владимирович прибыл в Псков и даже будто бы первым вошел в литерный поезд, чтобы уговорить царя отречься. В мемуарах, изданных в эмиграции, он об этом, правда, не упоминает. Достоверно известно, что, будучи министром в правительстве Керенского (министром чего? – это уже вовсе никто не помнил), Федор Владимирович после переворота едва не был казнён большевиками, в уцелевшем имении матери, в Пензенской губернии, сажал картошку и обдумывал обширное сочинение о грядущих судьбах русского народа. Дошли слухи о прогремевшем в Германии трактате философа Шпенглера, черный Гамаюн вещал гибель. Кто же тогда спасёт Европу

---

<sup>1</sup> гнилой, испорченной (*фр.*)

и христианство? – вопрошал Фёдор Владимирович. И отвечал, стаскивая в сених заляпанные глиной сапоги: Россия. Ex Oriente lux!<sup>1</sup>

Это продолжалось недолго. Фёдор Владимирович послал в Москву статью для сборника – достойную отповедь гробокопателя фаустовской цивилизации. После этого кто-то приехал в кожаном картузе и куртке из жеребьячьей кожи. Данцигера-старшего вызывали в Москву, в Чека. Первое время, пять или шесть лет после изгнания из пределов отечества (с внятным предупреждением, что теперь уж, если вернётся, будет как пить дать расстрелян), он присылал письма из Германии; Сергей Иванович отвечал всё неохотней, наконец, связь прекратилась, брат стинул, никакого брата не существовало, и профессор Данцигер, он был уже профессором, с законным правом мог писать в анкетах, что родственников за границей не имеет.

Как вдруг – сколько было этих «как вдруг» – случилось невозможное: Фёдор Владимирович воскрес. Получил разрешение вернуться. Годы изменили его не только внешне. Брат пересмотрел свои взгляды. Он согласился с Владимиром Соловьёвым в том, что своим величием Россия обязана жертвенной готовности русского народа отречься от самого себя. Он пришёл к выводу, что ненавистная узурпаторская власть была на самом деле Божьим перстом. Она называла себя революционной, но в действительности спасла Россию. Пускай она всё ещё клянётся Марксом и международным пролетариатом, – мы убедились, что именно эта власть сберегла империю. К счастью (ибо прошлого не зачеркнёшь), ему не разрешили прописку в столицах. Фёдор Владимирович не настаивал, отправился от греха подальше в Пензенскую область, в родные места. От усадьбы ничего не осталось. Несколько времени спустя дошли слухи, что он женился на деревенской бабе-колхознице, обитает в избе, поёт картошку на приусадебном участке, дышит свежим воздухом и работает над сочинением о грядущих судьбах русского народа.

## 20. Гром победы

Оставим в покое мыслителя-пророка, эту старую рухлядь. Пора воротиться к нашим баранам, точнее, к одному из них. Каков был духовный путь Марика Пожарского, какими тропами добрёл он до филологического факультета? Подобно тому, как однажды потух – к счастью, ненадолго – свет кремлёвских звёзд (многие помнят этот инцидент, породивший так много слухов), так однажды прервалось излучение Вождя, исчезло магнитное поле, и те, кто пережил эту катастрофу, помнили о ней всю жизнь, даже если она застала их детьми. Лето было уже в разгаре, стояли жаркие дни, сверстники Марика разъехались кто куда, сам он собирался с мамой и старшей сестрой на дачу, которую почему-то сняли в этом году очень поздно. Всё было готово, посреди комнаты стояла бельевая корзина, перевязанная верёвкой, стояли на полу керосинка и плетёная бутылка с керосином, швейная машина, стулья один на другом. Ждали отца, который должен был приехать с грузовиком.

Марику Пожарскому исполнилось тринадцать лет, по своим убеждениям он был марксистом-интернационалистом с анархическим уклоном. Услышав из чёрного картонного рупора обращение Молотова к советскому народу, Марик испытал необычайное возбуждение, выбежал во двор, ему хотелось скакать, маршировать, ни о какой даче, конечно, не могло быть и речи. На улице из двойных раструбов с крыш, над водосточными трубами гремела праздничная музыка. Малой кровью, могучим ударом! Мужской хор, как строй бойцов, чеканил оду на слова поэта-орденоносца Василия Лебедева-Кумача. Так и произошло. Красная Армия перешла

---

<sup>1</sup> свет – с Востока! (лат.)

в наступление. Двинулись, лязгая гусеницами, танки, понеслись с гиком лихие тачанки, помчалась – сабли наголо – кавалерия. Вскоре распространился слух о том, что наши войска заняли Варшаву, Будапешт и Бухарест. В свою очередь германский пролетариат готовился встать грудью на защиту отечества всех трудящихся. Между тем дошло до сознания несуразное, непонятное: Вождь исчез. Поручил Молотову сообщить о вероломном нападении, это понятно, он занят; но прошла неделя, шла другая, Вождь не подавал признаков жизни, никто не знал, что с ним, где он, и стрелка вольтметра, напряжение поля с каждым днём съезжало от деления к делению, пока не приблизилось к нулю.

То, о чём говорилось вполголоса, реплики, полные недомолвок, разговоры о тёте Мане, которая вновь пожалует в гости, что означало: ночью будет воздушная тревога, снова тревога, – как, почему, если врага успешно отогнали, – всё это не было предназначено для его ушей, но Марик обладал сверхъестественной интуицией подростка. Сидя на каменном полу, в толпе между перронами станции метро «Красные Ворота», которая теперь превращена была в бомбоубежище, Марик Пожарский чувял гибельное исчезновение магнитного поля, и в этом было всё дело. Именно этим исчезновением объяснялись необъяснимые неудачи. Их уже невозможно было скрывать. Государственные органы, которые до сих пор так успешно справлялись с задачей обряжать реальность в парадный мундир, теперь не успевали одолевать новые и неслыханные трудности. Это было похоже на лихорадочное латание вновь и вновь расползающейся одежды.

Вождь, наконец, пробудился, они услышали его глухой, желудочный голос. Стало ясно то, что и так было ясно: немцы захватили Прибалтику, Белоруссию и, вероятно, много ещё чего. Вождь сказал правду или, по крайней мере, нечто близкое к правде. Вождь говорил правду даже тогда, когда он говорил неправду. Он возглавил Комитет Оборона, и магнитное поле восстановилось. Победа была близка. Из закров языка было добыто слово «ополчение», оно напоминало о нашествии поляков, о Козьме Минине и князе Димитрии Пожарском. Отец записался добровольцем в ополчение – так делали всё. Рано утром отец проводил их на вокзал, в этот день ему предстояло явиться на призывной пункт. Никто не узнал, что случилось с ополчением, куда оно делось, о нём не упоминали в сводках, его словно не было, и негде было наводить справки об отце, который никогда больше не возвратился.

Бывшая Каланчёвская, ныне Комсомольская площадь кишела народом, подъезжали автобусы и грузовики, высаживались люди с узлами, чемоданами, швейными машинами, детскими стульчиками для каканья, из метро вываливались новые толпы, тротуар перед Казанским вокзалом, зал ожидания, лестницы, коридоры, перроны – всё было забито людьми и скарбом. Еле успели отыскать свою организацию, для неё было выделено два пульмана. В такт мерному стуку колёс качались, лёжа вповалку наверху и внизу, на помостах из необструганных досок и на полу посреди вагона, против задвижной двери, это было лучше, чем метаться от духоты на нарах, ночью стучала откинутая наружу крышка узкого продолговатого люка, что-то несло навстречу, казалось, вагон то взбирается на гору, то стремительно катится вниз, непонятно было, куда ехали, на рассвете остановились. Лязгнули буфера. Женщины неловко, задом спускались с нар, шарили место, куда поставить ногу. Оттащили в сторону тяжёлую дверь. Состав стоял бок-о-бок с пассажирским поездом, слепо отсвечивали окна, и казалось, что там никого нет. Позади него слышалось медленное постукивание, видно было между вагонами, как движутся платформы, товарные вагоны, заскрежетали колёса, звякнули буфера, это подошёл ещё один состав. Кое-где на сумеречном оловянном небе ещё горели огни, можно было различить вдали буквы на мачтах семафоров. Было прохладно. Хрустя сапогами, прошагал мимо вагона железнодорожник, спросили: что за станция? Оказалось, Пенза. Долго ли простои́м? Час, не меньше, сказал человек.

Начали вылезать, спрыгивать, умывались, поливая друг друга, поглядывали на медленно теплеющее небо без единого облачка, ожидался жаркий день, такой же, как все эти недели. Далеко на западе, на бледнолиловом небе вспыхивали зарницы, пахло паленым, трава горела на корню. В те дни за спиной у катящейся, как океанский вал, вражеской армии уже осталось столько земли, что на ней можно было разместить ещё одну Германию и полдюжины государств в придачу; была применена новая тактика, артиллерия и пикирующие бомбардировщики концентрировались на узком участке фронта. Радисты в танках сообщали лётчикам координаты бомбовых ударов. Танки устремлялись в прорыв, следом бежала пехота в шлемах, похожих на ночные горшки, и окружала наших. Миллионы красноармейцев сдавались в плен, и об этом тоже не знали. Слухи заменяли информацию, но сводки от Советского информбюро были не более правдоподобны, чем слухи.

В те дни, в другом таком же эшелоне эвакуированных Ира Игумнова ехала на юго-восток с матерью, тётёй, бабушкой и братом, которому через год предстояло получить повестку; никто не думал, не гадал, что через год война докатится и до юго-востока. Юра Иванов стал курсантом Высшего мореходного училища и не знал о существовании Иры и Марика, как они не знали ничего друг о друге. И в те же самые дни середины июля, в ранние утренние часы Марик Пожарский загадочным образом потерялся.

Марик отправился за кипячёной водой, пролез под колёсами пассажирского поезда и побежал в обход товарняка, который подошёл следом за ними. С двумя полными бидонами он выскочил из вокзального здания, пустынного и спокойного, совсем не то, что в Москве, взглянул на большие перронные часы и убедился, что времени остаётся ещё много. Он шёл по путям, обходил вагоны, перелезал через тормозные площадки, поглядывал на неподвижные крылья семафоров, на красные и жёлтые огни, раздумывал над проблемой, занимавшей его все последние недели; как вдруг оказалось, что пассажирского нет и товарного тоже нет; он бросился к другому составу, но это определённо был не их состав и не их вагон.

## 21. Родословное древо корнями вверх

В те же июльские дни ехала неизвестным маршрутом, с детским садом и школой имени Карла Либкнехта, с пионерским горном, барабаном и знаменем, с директором, завхозом, учителями, с бочонком селёдки, с упакованными наспех чемоданами, тринадцатилетняя девочка Соня Вицорек, иначе Сузанна Антония, по матери – фон Иршцу Зольдау.

Здесь невозможно описать в подробностях генеалогию этой семьи; любознательный читатель может справиться в Готском альманахе.

Замок графов Ирш, где в ясные ночи свирепый одноногий старик, прыгая с костылем по каменным ступеням, поднимался в башню, стоял на горе посреди леса; внизу, в долине, находилась деревенька, дюжина дворов, край был бедный и малолюдный; когда стало известно, что неприятельский отряд рыщет по окрестностям в поисках провианта и женщин, звездочёт приготовился к обороне с кучкой вооружённых слуг, но шведы так и не разыскали замок. Бавария была разорена, города сдавались один за другим, Валленштейн спешил на помощь из Богемии, но прежде чем он перешёл границу, Кёцтинг был сожжён до тла ордами протестантов, и смуглые, черноусые хорваты, закалённые в сражениях, не могли сдержать слёз, увидев, что осталось от города. И повсюду кругом пылали пожары, и толпы разного сброда скитались по дорогам и заброшенным полям, а сверху, с лесистых холмов, на них налетали на всём скаку

одичавшие рыцари-громилы, каких прежде не видели в этом краю, и грабили всех, кого ещё можно было ограбить. Генералиссимус Тилли умер в Ингольштадте после того, как шведский рейтар пробил ему нагрудник копьём. Граф Ирш-младший, единственный сын, погиб при осаде Аугсбурга известие принёс полумёртвый гонец, кто-то видел молодого Ирша лежащим на поле боя без чувств. Старик бодрствовал в башне, разглядывал чертёж и вперялся в зрительную трубу, искал ответа: что с сыном? Случилось чудо, упрямство победило, что-то сдвинулось в небесном механизме. Сатурн, вестник гибели, увял в лучах благодатного Юпитера. Ирш выздоровел от смертельной раны. Пришла другая весть, о поражении под Лейпцигом, – фортуна вновь отвратила лик от защитников апостольской веры. Но зато, к их радости, северный король пал под пулями мушкетёров. Вернувшись в замок, молодой Ирш нашёл старика отца при смерти, наследственное владение неразграбленным, обсерваторию в образцовом порядке.

Знай он о том, что его потомки впадут в лютерову ересь – пфальцская и баварская ветви угаснут в смене столетий, уцелеет единственная ветвь рода, балтийская, – он проклял бы своё семя. Однако планеты не оставили своим покровительством последнего из его потомков. Последней была женщина. На щите графов Ирш был изображён зубр, склонивший рогатую голову. Упрямство Аннелизе Ирш было фамильной чертой. Любовь, а затем и замужество Аннелизе были единодушно осуждены всей родней, отчасти из аристократических предрассудков, но главным образом из-за морального облика и политических убеждений Отто Вицорека. Трудно сказать, что сильнее вскружило голову Аннелизе: революционная идея или красота Отто. Он был строен, голубоглаз, заносчив, как и подобало сыну рабочего, вдобавок еврей; дерзко нёс свою голову с огненно-рыжей шевелюрой; в семнадцать лет примкнул к движению нудистов, этих апостолов разврата, позировал на пляжах в окружении девиц, изображавших наяд (есть фотографии), получил премию на конкурсе мужской красоты, играл на флейте и барабанах, слагал баллады (говорят, ему подражал молодой Брехт), бедствовал, кое-как окончил на казённый кошт военно-медицинскую академию кайзера Вильгельма в Берлине. Медицина не была его призванием. Эволюцию его взглядов можно кратко охарактеризовать как замену одних фантомов другими. Отто Вицорек был батальонным врачом на Западном фронте, председателем солдатского комитета в Дрездене, а в пору знакомства с девушкой из стана эксплуататоров – членом центрального совета рабочих и солдатских депутатов. Дружил с Фридрихом Вольфом, был на «ты» с самим товарищем Тельманом.

В предпоследний день февраля тридцать третьего года, в Берлине какой-то голландец по имени Маринус ван дер Люббе, полуголый, обливаясь потом, выбежал из горящего рейхстага с воплем: «Протестую!», его сочли за поджигателя. История шлёпнулась в грязь; в семействе Ирш переворот был встречен сочувственно. Аннелизе возвратилась в фамильное поместье, в семи километрах от Мариенбурга в Восточной Пруссии, вернула имя и титул; с Вицореком было покончено. Аннелизе оставила его так же решительно, как некогда завладела им. Вицорек бежал. Через Базель, Вену и Варшаву с новой подругой и дочерью добрался до столицы мирового пролетариата, был помещён в гостиницу «Люкс» на улице Горького, 36, и получил в Отделе виз и разрешений Главного управления НКВД разрешение на бессрочное жительство в стране как ветеран рабочего движения, революционный журналист и подпольщик. Через три года подали на гражданство. Им дали квартиру из двух комнат с ванной и кухней в Нижнекисловском переулке, в доме, где поселились Вольф с женой и мальчиками, поэт и партийный функционер Эрих Куявек, Фишеры, Лотар Влох и другие; Сузанна Антония стала Соней.

Зимой последнего года войны пароход с беженцами из Восточной Пруссии был атакован русской подводной лодкой. В темноте из-за сильной качки к переполненно-

му баркасу, за который всё ещё цеплялись руки тонущих в воде, невозможно было приблизиться. Всё же удалось кое-как перетащить людей в шлюпки спасательного судна. Аннелизе фон Ирш цу Зольдау была крупная рыхлая женщина лет 50; когда два или три месяца спустя она добралась до Аугсбурга к дальней родне, одежда висела на ней лохмотьями; никакой родни не оказалось, во второй раз после Тридцатилетней войны город был уничтожен. Аннелизе чуть не умерла от голода, но, к счастью, сумела списаться с Сузанной Антонией. Дочь находилась в советской зоне.

## 22. Разломы

Лязг буферов прокатился по всему составу, вагон дрогнул, медленно повернулись колёса, из приотворённой двери протянулось несколько рук, Марик бежал за вагоном с бидонами, бросай, бросай – кричали ему, он вскарабкался в вагон, поезд гремел на стыках, набирая скорость, путаница рельс, семафоры, пакгаузы – всё исчезло. Поезд шел по насыпи, внизу тянулся кустарник, блестела вода. Здесь тоже были эвакуированные, женщины и дети, русская речь мешалась с нерусской, подросток сидел на краешке нар, ел бутерброд и пил чай из эмалированной кружки. Состоялось знакомство. Девушка лет двадцати ехала с отцом, высоким, тощим человеком с полуседыми всклокоченными волосами, с провалившимся лицом, между собой они говорили по-литовски и по-еврейски. Был ещё один сын, мальчик такого же возраста и звали его так же; вот как, сказал отец, и, вероятно, это имело какое-то значение. Этот Марк находился в пионерском лагере в Паланге, куда уже невозможно было добраться, и никаких вестей, и неизвестно, успеют ли их вывезти. Большинство родителей, по-видимому, вовсе не собирались в эвакуацию, но у отца с дочерью не оставалось другого выхода. В Каунасе на вокзале так и не дождались автобуса с детьми, возможно, пионерлагерь успел эвакуироваться раньше; вдруг разнеслось известие, что немцы уже в городе. Из этих отрывочных рассказов Марик, не тот, кто пропал, а тот, кто сидел на краешке нар и вот уже третьи сутки ехал с незнакомыми людьми в неизвестном направлении, сделал вывод, что евреи были настоящими советскими патриотами, а литовцы предателями.

Прошёл слух, что едут в Уфу. Никто в вагоне не знал, где это находится, и Марику пришлось объяснять. До Уфы, впрочем, не доехали. Как в средние века, это было время грозных чудес. На речном вокзале, где ждали парохода, чтобы плыть дальше по Белой, к Марику подбежала, вся в слезах, мать, она ждала здесь уже третьи сутки. Поздно ночью погрузились на баржу, лежали под звездами, пока пароходик где-то впереди шлепал колесом по воде; взошло солнце, мальчик спал, несколько времени спустя он сидел, протирая глаза, что-то жевал, люди вокруг лежали, укрытые чем попало, мать не отпускала его ни на шаг; вечером причалили к дебаркадеру. Всё смешалось в голове у Марика, летняя ночь и огни на чёрной воде, толпа брела с пристани вверх, это было большое село, разместились в школе и прожили в физкультурном зале на полу, среди кульков, узлов, чемоданов, две или три недели.

Так началась новая жизнь, итоги которой, по прошествии трёх лет, были плачевны. Существует тайная связь между кризисом плоти и крушением веры в Бога; политическое мировоззрение Марика Пожарского (как и всех его сверстников) было сопоставимо с религиозной верой.

Был один случай, была такая деревенская девчонка, голоногое существо в коротком платице, теперь уже не вспомнишь, как её звали; вдвоём шли по пыльному тракту, лес стеной стоял на холмах по правую руку, слева сверкала река. А вот хочешь, под-

мигнула она, покажу кое-что. Два дерева, как одно, стерегли круто поднимающийся дуг. Два дерева обвили стволы одно вокруг другого, словно две змеи.

«Гитлер со Сталиным борется!» – с каким-то бессмысленным восторгом объявила она. И всё это вместе, белая пыль дороги, в которую так приятно было погружать босые ступни, опушка, залитая солнцем, и хихиканье, дурацкий смех, в котором почувствовалось ожидание, почувдился вызов, и самое главное – неслыханное, невозможное сравнение великого друга и вождя с кровожадным фашистским ублюдком, – болезненно отпечаталось в душе у Марика: всякий раз при воспоминании об этой истории, которую историей-то не назовёшь, об этой девчужке с бугорками груди, ему казалось, что он упустил что-то, надо было обнять её, как Гитлер обнял Сталина.

Вся жизнь вокруг была не такой, какой ей полагалось быть, какую представлял себе никогда не живший в деревне подросток, и далекая война шла не так, как полагалось, что, впрочем, было уже не новостью, и всё-таки невозможно было отделаться от вопроса – как же это так. Как это могло случиться, ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее! Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, а где теперь этот товарищ Ворошилов? Где лихой Будённый, пашки наголо, где Лебедев-Кумач, куда вообще всё подевалось? Куда делся германский пролетариат, который должен был грудью встать на защиту первого в мире... ах, о чём тут говорить, никакого германского пролетариата не было в помине, а были фрицы. Пламенный патриотизм подростка подвергся мучительному испытанию, – не то чтобы зашатался, но всё же... Как все вокруг, Марик жадно ловил известия об успехах, радио изо дня в день рассказывало о подвигах, враг нёс потери, непонятно было, как он может всё ещё сопротивляться, и вдруг как-то само собой оказалось, словно и не было новостью, что немцы давно уже взяли Киев. Вдруг очутились в Харькове.

Вновь открытие поразило Марика: то, что происходило, оставалось тайной и, очевидно, стыдной тайной, иначе зачем её было скрывать? Хуже всего было то, что Марик перестал понимать Вождя, перестал понимать смысл великой максимы: Вождь говорит правду, даже если приходится говорить неправду. Не означало ли это, что Вождь говорит неправду, даже когда он говорит правду? Говорит ли он вообще правду? Давно прошла первая зима в эвакуации, новое лето клонилось к закату, и детской дребеденью казалось всё, чем он увлекался год тому назад, появились другие книжки, другие занятия, пришло новое знание, подобно знанию о чарующем эксперименте с отростком; но что-то ушло вместе с умирающим детством, ушла вера. Что в этом странного? Живи он на этом свете подольше, он понял бы, что утрата веры в Вождя не зря была схожа с утратой веры в Бога, подозрительно напоминала атеистическое прозрение, каким его переживала юность прежних поколений. Это было не что иное, как утрата метафизической уверенности в том, что мир устроен разумно. Болезнь треснувшего зеркала. Да, ты стоял перед зеркалом, расколовшимся на много кусочков, которые, однако, еще держались в раме, – упаси Бог дотрагиваться до них. И тут уже дело шло о чем-то большем, чем о крушении политической веры; речь шла о Зеркале мира, которое шмякнул оземь безответственный тролль. Поколение, шедшее следом за Мариком, было обречено жить в мире осколков.

## 23. Фараон

Губительную роль сыграла и дружба с Александром Моисеевичем. С тем самым – высоким, костлявым, с провалившимися щеками, который крикнул Марику, бросай свои бидоны, и втащил его, как клещами, в вагон; с вечно озабоченным и вечно что-то теряющим, потерявшим и своего сына. Александр Моисеевич преподавал в

школе иностранный язык, обитал с дочерью в комнате у хозяйки, на самом краю села, и встречал подростка, когда тот, взойдя по скрипучей лесенке в мезонин, стучался в дверь, приветствием на языке врага. Учитель сидел в расстёгнутой жилетке, в широких бесформенных штанах на подтяжках, заложив ногу за ногу, боком к столу, покрытому клеёнкой, пил коричневый морковный чай, излагал последнюю сводку от Советского информбюро. *Keine Bewegung an allen Fronten.*<sup>1</sup> После чего разговор, лучше сказать, монолог учителя, продолжался по-русски. Александр Моисеевич жил до войны в Европе, по его словам, Берлин был самым благоустроенным городом. Германия – самая цивилизованная страна. Но этот народ охвачен безумием, он продался дьяволу, и ему готовится страшное возмездие, его ждёт судьба многочисленных народов и царств, которые были врагами евреев, а где теперь эти царства? Подобно войску фараона, он захлебнётся; подобно филистимлянам и амалекитянам, исчезнет с лица земли. Но... (воздев косматые брови, качая головой, на которой дыбом стояли серые волосы), но, если уж говорить правду. То, конечно, и *этот* не лучше. Два монстра схватились друг с другом.

«Да, но ведь ...» – лепетал подросток.

Учитель по-прежнему качал головой.

«А кстати, – спохватывался Александр Моисеевич, словно об этом ещё не было речи, – что нового на театре военных действий?»

Теперь Марик должен был повторить по-немецки последние известия. Учитель рассеянно кивал, поправляя произношение.

«Вот видите», – сказал подросток.

«Что я должен видеть?»

«Это сделаем мы».

«Кто это – мы?»

«Советский Союз, – сказал Марик, – победит фашистскую чуму».

«*Kein Zweifel*<sup>1</sup>. Будем, по крайней мере, надеяться. Только неизвестно, что лучше. То есть, само собой разумеется, что с Гитлером надо покончить, иначе он покончит со всеми нами... Не только с евреями! – сказал Александр Моисеевич, подняв палец. – И все-таки неизвестно, кто из них опаснее... О-хо-хо...»

Он снова закинул ногу за ногу, сложил руки с переплетёнными пальцами, нижняя часть живота, несмотря на худобу, выступала, спина ещё больше согнулась.

«Неизвестно, что лучше, – повторил он, – и кто лучше... и мы ещё не знаем, кто воцарится в Европе, когда Гитлер будет разгромлен...»

«Произойдёт революция. После первой Мировой войны произошла революция в России, а после этой произойдёт в остальных странах».

«Ага. Вот как!» – заметил учитель.

«А почему же тогда, – возразил подросток запальчиво, это было продолжение предыдущих дискуссий, – прогрессивные силы всего мира...»

«Какие эти силы, позвольте спросить?»

«Например, Ромен Роллан», – сказал мальчик, только что прочитавший «Жана-Кристофа», толстую книгу, в которой самое сильное впечатление произвела глава о знакомстве с Адой.

«Я такого не знаю», – отрезал учитель.

Полногрудая Ада сидела на дереве, когда мимо проходил Жан-Кристоф, и не знала, как слезть. Спрыгнула в объятия Кристофа, а дальше всё происходит как бы само собой, они приходят в деревенскую гостиницу, *опираясь на руку Кристофа, Ада потребовала комнату.* И... и... погас мерцающий свет в саду, погасло всё. Кровать, как лодка...

<sup>1</sup> На всех фронтах – затишье (нем.).

<sup>2</sup> Без сомнения (нем.).

«Кровавый деспот. Выродок», – бормотал тощий человек, и мальчик спохватывался, понимал, о ком идёт речь, терялся, ужасался и восторгался.

## 24. Дивертисмент. Другая жизнь

Марик Пожарский был блондином, светловолосые молодые люди выглядят, к своему огорчению, ещё моложе. Двоюродный брат Марика по имени Владислав был брюнетом. Бритые щёки и подбородок были серо-лилового оттенка, и это придавало Владиславу мужественный вид, хотя он был лишь на год старше Марика. Владислав устроил концерт Вертинского. Концерт состоялся в Новом здании, под вечер, в пустой 66-й аудитории, той самой аудитории на втором этаже, где некогда вахтенный офицер с негнущейся ногой предстал перед приёмной комиссией. Зрители – их было трое – заняли места в первом ряду.

Вертинский явился, за неимением фрака, в длинном, слишком просторном пиджаке небесного цвета с неестественно широкими накладными плечами, с оранжевым бантом на шее и антикварной розой в петлице. Несмотря на свою мужественность и знание женщин, Владислав был небольшого роста и довольно хилого строения, мало напоминал прославленного артиста, который, по рассказам, был высок и статен. Но Владислав недаром учился в студии театра имени Вахтангова. Раздались жидкие хлопки; Владислав раскланялся. Он был одновременно и конфетансье, и аккомпаниатором Брехесом, и самим маэстро, объявлял номера, бил растопыренными пальцами по воображаемой клавиатуре и по-собачьи поглядывал на исполнителя, и он же балансировал на цыпочках, с вытянутой шеей, крутил чем-то перед грудью, вибрировал попкой и распевал тонюсеньким голоском: «Я маленькая балерина! Всегда мила, всегда нема!»

Затем сцена менялась, гасли огни и возгорались душистые светильники, Брехес самозабвенно брал аккорды, Владислав пел, молитвенно сложив руки, – пел завлекательным, полуночным, сладострастным баритоном, не спуская глаз с Иры:

Я безумно боюсь. Золотистого плена.  
Ваших медно-змеиных волос.  
Я люблю ваше тонкое имя – Ирэна!  
И следы ваших слёз!

А кончилось всё тем, что Владислав, возбуждённый произведённым эффектом, распустив рывком, истинно артистическим жестом свой оранжевый бант, с ходу пригласил Иру и Марика к себе на дачу, «выпьем, потанцуем, нет, я серьёзно», – говорил он, хотя казалось, что он всё ещё играет роль; Ира смеялась несколько преувеличенно, закидывая голову, словно киноартистка, не сказала на да, ни нет, Иванов сидел на краю первого ряда, мрачный, как туча, положив ногу на палку. Владислав удалился, помахал рукой, не оборачиваясь, должно быть, отправился на вечернюю репетицию, на свидание с какой-нибудь актрисулей; и стало обидно за свою убогую жизнь, рутину занятий, стыдно за школярское усердие; другая жизнь, лёгкая, беспорядочно-упойтельная, была рядом, огни города, раскалённые вывески ресторанов, бессонные ночи, таинственные любовные похождения. На другой день вечером в сумерках, в седьмом часу явились на вокзал. Шёл густой мокрый снег, смеясь, отряхивались, на грязном полу стояли лужи, валялись окурки. Кругом теснился народ с мешками, кошелками, деревянными чемоданами, инвалиды на самодельных тележках с роликами, голос по радио каркал неразборчивые слова.

Наконец, явился Владислав, весь в снегу, в облезлом тулупчике, обмотанный башлыком, что придавало ему бабий вид, бормотал что-то и поглядывал по сторонам, Ира смотрела на него растерянно, да и сам Владислав как будто ждал, что они сейчас скажут: мы передумали.

Она сказала, что не поедет, пришла, чтобы не подводить, сказать, что сегодня не может. Да и поздно уже. Как это поздно, встряхнулся Владислав, через полчаса будем на месте. Через полчаса поезд, битком набитый молчаливыми, утрюмыми людьми, всё ещё нёсся мимо тёмных заснеженных перелесков и слабо освещённых платформ. На какой-то станции сошло много народу. Становилось свободнее, по проходу между ногами сидящих, отталкиваясь деревяшками, ехали безногие на колёсиках, Владислав озабоченно поглядывал в окно, опустевший вагон гремел и шатался. Наконец, вылезли, было сыро, холодно, Ира в своих ботиках то и дело проваливалась в снег. Шли через поле под огромным сиреневым небом, навстречу слепым огонькам. Время от времени Владислав останавливался, похоже, плохо ориентировался. Оказалось также, что дача не его, а дядина. Родители обретались где-то за границей, а дядя приезжал на дачу только летом.

## 25. Приключения в загородном доме

«А вот и мы!» – вскричал Владислав, распахнув дверь с террасы. С потолка свисала люстра, испускавшая жёлтый, точно керосиновый, свет, в комнате стоял тусклый туман, оттого ли, что было холодно, или из-за того, что накурили. Ира пыталась стянуть с ноги мокрый ботинок, кто-то выскочил из стола, картинно встал на колени и стащил ботинок вместе с туфлей. Ира шевелила пальцами в намокшем чулке. Опоздавшим был назначен штрафной кубок Большого Орла. Марик Пожарский храбро осушил гранёный стакан с чем-то омерзительным, «вó даёт», сказал кто-то. Марик оглядывал собрание блестящими сумасшедшими глазами. «Закусить, закусить», – раздались покровительственные голоса, чья-то рука посадила его, шлепнув по плечу, за стол, и Марик, который не ел с утра, вонзил зубы в бутерброд, густо намазанный – трудно поверить – красной икрой. Вообще пиршественный стол являл собой смесь нищеты и роскоши.

Владислав подхватил под руки двух девиц, исчез в соседней комнате, из открытой двери донёсся звук патефона. Марик перебирал присутствующих победоносно-осоловелым взглядом, искал Иру. Она сидела в пальто, накинутом на плечи, на другом конце стола, и двое каких-то наперебой угощали её, один с волнообразной, наподобие шестимесячной завивки, шевелюрой, тот, который подбежал снимать ботинок, другой плосколицый, страшный, редкозубый, с перебитым носом. Больше кавалеров, кажется, не было. Марик исполнился презрением, встал и нетвёрдым шагом вышел в другую комнату.

Там в полусвете помещался широкий продавленный диван, на столике у изголовья горела лампочка. Великий певец исполнял «В бананово-лимонном Сингапуре», но это был не Владислав, это был сам Вертинский. Впрочем, и патефон оказался не патефоном. В углу возле столика на полу сиял и лучился зелёный цветок из оргстекла. Перед ящиком, похожей на гробницу, сидела на корточках одна из девиц, подкручивала ручку завода и ставила пластинки. Пёстрое крепдешиновое платье лежало на её коленках и обрисовало зад. Владислав танцевал.

Он раскачивался вместе с партнёршей, левой рукой прижав её к своей груди, к просторному, чуть не доходящему до колен лазоревому пиджаку с широкими ватными плечами, в котором прятался его тщедушный торс: с полузакрытыми глазами,

отдавшись томным, раздражающе-сладострастным и бессильным звукам, уверенно правя далеко отставленной правой рукой, танцевал стильно, нагибаясь над падающей навзничь и снова выпрямляясь, и внезапным рывком вращая её вокруг глубоко внедрившейся в пах ноги. Граммофон исполнил, вслед за Сингапуром, «Я безумно боюсь золотистого плена», «Дядя Ваня хороший, пригожий, дядя Ваня всех юношей моложе» и ещё несколько произведений в этом роде, появились другие танцующие, затем кто-то потушил лампу, свет проникал в комнату через полуоткрытую дверь из столовой. Умолкший растроб загадочно мерцал в полутьме. Гости полулежали на диване в обнимку, кто-то сидел на полу, слышались вздохи, смешки, должно было начаться, может быть, самое главное.

Несколько времени спустя Владислав оказался рядом с Мариком, стол с остатками пира был отодвинут, это было уже в первой комнате, выходящей на террасу, мистический свет струился по стенам, по лицам, граммофон ожил, неизвестно, что происходило в комнате за дверью, а здесь они оба смотрели на пышноволового завитого отрока, который извивался, танцуя с Ирой. Она старалась поспеть за кавалером, следила за его ногами в щёгольских узконосых туфлях, танец происходил почти на одном месте. «Ба-альшой талант», – процедил Владислав. «Он тоже в вашей студии?» – спросил, с трудом ворочая языком, Марик. В это время пышногривый, отогнувшись назад, выставив хилые бёдра, старался повалить Иру на себя, а она упиралась рукой ему в грудь.

«Ты как насчёт того-сего? – спросил Владислав. – Вон с той», – он показал кивком на высокую в крепдешинном платье, стоявшую в дверях. Марик Пожарский подумал, что вот он сейчас подойдёт к этой дылде и отомстит Ире, и уже было двинулся вразвалочку, с развязной миной к рослой, выше его, девице, чтобы спросить, как полагается: «Вы танцуете?...» – но каким-то образом вместо неё оказался перед Ирой и её женственно-томным партнёром, оба тяжело дышали. «Ты, – сказал Марик, – ты вот что. Ты пойдёшь отдохни...» – «А я не устал», – возразил пышноволоосый. «Нам поговорить надо», – сказал Марик. Он попытался оттеснить Иру от партнёра.

«Э, э, э, что за шум. В чём дело», – услышал он сзади барственный, гундосящий голос, обернулся и увидел тупорылого с продавленным носом. «А это вас не касается», – хотел сказать Марик, а может быть, сказал и вместо ответа получил удар в челюсть. Удар был вполсилы, Марик схватился за щеку. «Вы что это, – воскликнула Ира, – вы что делаете!» – «А ну вали отсюда, – сказал тупорылый, в упор глядя на Марика. – Кто его привёл, ты?» – спросил он и повернул голову к Владиславу. Тот пожал плечами, замотал головой. «Значит, сам пришёл», – констатировал тупорылый. В эту минуту кто-то показался на террасе. Новый гость вошёл в комнату. Вошёл, опираясь на палку, Юрий Иванов, снег лежал на плечах и обшлагах его перешитой шинели и на меховой шапке. Он снял и отряхнул шапку, снял запотевшее пенсне, снова нацепил и двинулся к тупорылому. «Ну-ка, подвинься», – сказал он. «А ты кто такой», – лениво спросил с перебитым носом. «Подвинься, говорю», – проскрипел Иванов.

«Это кто же это к нам пришёл, бабоньки!» – радостно пропел-прогундосил редкозубый, внушительно прочистил голос, дернулся, словно его ударило током, развернулся – Иванов поднял ладонь, чтобы защититься, тупорылый толкнул его кулаком под дых. Иванов, потеряв равновесие, полетел навзничь, его подхватили, девочки завизжали, раздались голоса: «Инвалида бить, это уж нечестно...» – «А пуцай не лезет». Пуцай – было сказано, вероятно, для шика.

«Так», – сказал Иванов, тяжело поднимаясь и укрепляя пенсне на носу. Палка лежала на полу. Иванов опирался о край стола. Все увидели, что он пьян. Тупорылый смотрел на него, ослабившись. «Так, – медленно повторил Иванов. – Ну-к, подойди». – «Что, ещё захотел? – спросил тупорылый. – Воин хуев», – добавил он. Иванов, не оборачиваясь, схватил что-то со стола, размахнулся и швырнул бутылку в гундо-

сого. Девы бросились к нему, тупорылый стоял, пошатываясь, посреди комнаты и, по-видимому, плохо соображал, что произошло. Кровь и водка текли у него со лба. Граммофон пел из соседней комнаты: «Дядя Ваня, хороший, пригожий».

## 26. Принцип краеугольной беззаботности

В эти годы писатель, которому суждено было перед смертью изведать всемирную славу, сидя на своей даче в посёлке для государственных писателей, в тепле и тишине, сочинял роман об эпохе высшей и краеугольной беззаботности. Так называл он чувство, присущее людям той эпохи.<sup>1</sup>

Это была допотопная эпоха. Ещё были живы те, кто о ней помнил. Потоп смыл всё. Беззаботность осталась.

Беззаботность как принцип жизни, как опора существования вновь доказала свою почти сверхъестественную живучесть. Она заменила умершую религию. Беззаботность, другое имя которой – фатализм, приняла безотчётный, нерассуждающий, простой житейский вид. Ни революция, ни война не смогли истребить абсурдную и спасительную уверенность в том, что всё образуется. Все утрясётся. Не завтра, так послезавтра, не через год, так когда-нибудь. Подождём, потерпим. Где наша не пропадала! Ничего нет, и достать негде, но что-нибудь да найдётся. Нет продуктов, зато есть карточки. Истрепалась одежда, однако носить можно. По-прежнему влюблённые находят друг друга, хотя негде уединиться. Каким-то образом рождаются дети. Ходят трамваи, народ гроздьями висит на подножках, как-нибудь найдём место поставить ногу, местечко на поручне, чтобы уцепиться. Как-нибудь доедем. Тряхнёт на повороте, так что шапка слетит с головы; кто-нибудь поднимет, подбежит и протянет. Ублюдок с лицом, по которому словно проехали на студебеккере, собьёт тебя с ног – ты поднимешься. И мы ещё поглядим, кто кого.

Играет музыка, толпы движутся по тротуарам. В двухцветном коктейль-холле на улице Горького, шикарно именуемом «кок», тонюсенькая рюмочка, «Полярный со сливками», стоит столько, сколько не заработаешь за год, а всё же от посетителей нет отбоя, и к вечеру выстраивается очередь на тротуаре. Девчонки в юбочках, в фильдеперсовых чулочках прогуливаются от Охотного ряда до Телеграфа и назад, топчутся перед гостиницей «Метрополь», поглядывая, не показалась ли милицейская фуражка. Играет музыка. Ничего нет, карточки не отовариваются, но все можно достать по благу. Конечно, за исключением того, чего достать невозможно. Но и того, чего не достанешь, можно добыть, если уметь; всё можно. Можно купить коверкотовый костюм на Тишинском рынке, принести домой, развернуть и увидеть вместо костюма обрезки, тряпье. Можно продать часы, которые не ходят и никогда не ходили, и купить такие же. Можно стащить на задворках старый ящик, найти местечко на том же Тишинском рынке, вошедшем в историю и фольклор, разложить макулатуру; потрясая истрёпанной книжкой, заорать во всю мочь: «А вот История маленького лорда Фаунтлероя!» Можно договориться, и тебе достанут диплом, ордена, гвардейский значок, удостоверение инвалида Отечественной войны и аттестат об окончании средней школы. Можно кататься на метро бесплатно, давиться в толпе перед контролёрами, приблизиться к одной, руку с билетиком тянуть к другой, шагнуть на ступеньку эскалатора – и поехали. А билет за 15 копеек ненадорванный в кармане.

Можно пристроиться к похоронной процессии. Постоять, обнажив голову, скромно сесть в автобус вместе с роднёй, сослуживцами, однополчанами или кто они

<sup>1</sup> «Доктор Живаго», I, 7.

там, перекинуться словечком, дескать, замечательный был человек, вместе в школу ходили. Войти в квартиру, а там поминальный стол, и отлично покушать.

Можно выстоять часовую очередь перед кинотеатром «Художественный» на Арбате, остаться с носом перед захлопнувшимся окошком кассы и купить с рук за углом, в последнюю минуту билеты на эпохальный фильм «Клятва».

## 27. Уходя от нас. Полотняный эпос

Гаснет свет. В последнюю минуту зрители всё ещё ёрзают, устраиваясь удобней на жёстких стульях. И вот это начинается...

На необъятных просторах, в волжских степях, висит на стене фотография: хозяин избы Степан Петров вместе с Вождем, во время славной обороны Царицына. Отгремела гражданская война. Семья за праздничным столом. Что ждет их в Новом, 1924 году? Кулаки поднимают голову. Холодеющей рукой, смертельно раненный из кулацкого обреза, Степан вручает жене Варваре письмо – передать Ленину. И вот Варвара Петрова в Москве. Красноармеец с заиндевелым штыком у ворот Кремля объясняет, что Ленина нет, он в Горках. Вместе с Варварой шагают по снежной аллее кавказский пастух Рузаев, узбекский хлопкороб Юсуф и украинский батрак Семён. Как вдруг – траурный плакат над колоннами фасада, Ленин отдал концы. Из подъезда выходят руководители партии. Но сперва появляются Каменев и Бухарин. Как-то сразу становится ясно, что это Бухарин и Зиновьев. Или Каменев – что одно и то же. Враги народа; это сразу видно по их физиономиям. Тем более что они уже и не маскируются. Думают, что настал их час.

В сущности, с ними было всё ясно уже тогда, оставалось только разоблачить и поставить их к позорному столбу, зачем же понадобилось столько лет, чтобы, наконец, с ними разделаться. Ведь это и есть главная задача, суть всей борьбы, вывести на чистую воду двурушников, агентов иностранного капитала, злейших врагов партии; революцию совершить – пустяк по сравнению с этой задачей. Но это сейчас нам понятно, а тогда обстановка была сложной. Кто там следующий вышел из подъезда? Выходят истинные ленинцы. Их легко узнать по портретам: Молотов, Дзержинский, Орджоникидзе, Буденный. Их озабоченные лица выражают тревогу. И не зря: враги готовят атаку на Сталина. А вот...

Вот! Пол под ногами ходит ходуном, качается люстра, зал сотрясается от аплодисментов, счастливый вопль: «Да здравствует товарищ...!» Зрители повскакали с мест, пришлось даже остановить проекционный аппарат. Луч повис над головами, воцаряется тишина. Все уселись. На экране он сам. Одинокий, поникший, неподвижный, в меховой шапке с опущенными ушами, а поодаль скамейка. Разрешается ли останавливать фильм посреди сеанса? Должно быть, это согласовано. Выдающийся артист нашего времени Геловани в роли товарища Сталина, а может быть, настоящий товарищ Сталин – так здорово он похож – играет самого себя, то есть Геловани. Все сидят, прикованные к стульям, все глаза устремлены на экран. Слабый шелест проектора, и Вождь оживает. Геловани продолжает свой путь. «Звук, звук!» – кричат в зале. «Зву-ук!» – тысячекопытный гром. В страхе, в панике киномеханик что-то нажимает, несутся кадры, вперед, назад, и, наконец, врывается музыка, Чайковский, Патетическая симфония. Геловани бредет к скамейке, на которой совсем еще недавно сидели вдвоем с Ильичом. Медленно поднимает голову, смотрит направо, куда же ушли верные ленинцы? Там, на снегу, на коленях стоит Варвара. Глубоко символический кадр: Родина-мать и её верный сын. Но пора возвращаться во дворец. В кабинете Ленина Вождь уселся за письменный стол. Под портретом Маркса, это тоже не случайно. Во-

обще здесь случайному, произвольному не место. Перед его взором проплывают картины прошлого, образ Ленина встает в его памяти.

Почему нет некролога? Глупый вопрос задает недалекий американский журналист Роджерс, он как раз подвернулся под руку на Красной площади. И не будет, отвечает Вождь. Ибо Ленин никогда не умрет. Но, конечно, и не оживет, – да и зачем? Он был бы здесь лишним. Никому нельзя доверять наследие Ленина, добавляет Геловани, оглядывая прищуренным взором Бухарина и Каменева, или Зиновьева, впрочем, это все равно. И восходит на трибуну. Позади него видна кремлевская стена и Спасская башня, и не догадаешься, что это макет. Медленно бьют куранты. Виден собор Василия Блаженного, его спустили на канатах на съёмочную площадку. Замечательная художественная находка режиссера Чиатурели. Именно так: не в Колонном зале, а на Красной площади, вместе с народом, на фоне древнего Кремля. *Уходя от нас, товарищ Ленин...* и народ за ним повторяет хором великую клятву. Тут и кавказский пастух Рузаев, и узбекский хлопкороб Юсуф, и украинский батрак Семён.

Вдруг толпа расступается. Варвара, высоко подняв письмо, несет Вождю. Все в зале видят надпись на конверте: «Ленину».

Что-то там происходит, поет хор, на площадь въезжает молодой тракторист, как вдруг трактор портится. Как в той самой, русской народной легенде о мужике, который застрял в грязи со своим возом, а тут как раз проходили мимо Иисус со святителями. Что ж, сказал Иисус, надо пособить. Никола засучил портки, полез в грязь, а Касьян стоит, не хочет пачкаться. Так и Вождь очень кстати оказался с соратниками – Молотовым, Ворошиловым и Калининым. Что же, говорит, надо помочь, и сразу установил причину поломки трактора. Оказывается, необходимо сменить в моторе свечи. Исключительно правдивая и вместе с тем глубоко символическая сцена. Разговорились. Батрак Семен или пастух Рузаев – кто-то из них – пожаловался Вождю на кулаков. (Видимо, они и подстроили аварию трактора). Вождь посоветовал кавказскому пастуху бороться с кулаками. Тут вступил в разговор узбекский хлебороб Юсуф. Геловани подсказал ему, что необходимо прорыть оросительные каналы, чтобы поднять урожайность хлопковых полей. И как на зло в их беседу встречается все еще не разоблаченный Бухарин: лучше, говорит, будем покупать машины за границей. До каких же пор, мать твою так и сяк, думает Геловани, можно терпеть это предательство. Нет, отмечает он измышления Бухарина, не надо покупать машины за границей, идти на поклон к капиталистам, а необходимо самим развивать тяжелую промышленность.

Так и произошло. Успешно выполнен и перевыполнен пятилетний план по производству стали, чугуна и проката. Все встречаются в Кремле на большом народном празднике: тут и кавказский пастух Рузаев, и русский рабочий Ермилов, и, в общем, все. Артист Геловани приглашает всех в Георгиевский – или какой там – зал, в Георгиевском зале пляшут казачок, кавказский пастух Рузаев выдал лезгинку, а разбитной парень Иван подкатился к Вождю спросить разрешения оторвать нашу русскую, как когда-то во время обороны Царицына. Дело в том, что этот Иван – не кто иной, как сын Степана Петрова. Вождь, конечно, разрешил, Иван Ермилов, или Петров, это не важно, отчебучил барыню, Ворошилов растянул гармонь, а Буденный пошел вприсядку. А Геловани, с трубкой в зубах, улыбаясь, прихлопывал в ладоши. В этом проявился особый художественный такт создателей фильма – режиссера Чиатурели и автора сценария писателя Павленко, чувство меры, чутье художника подсказало им, что не следует заставлять Вождя плясать вместе с другими. Он, конечно, мог бы, и еще как, но будет лучше, художественно убедительней, больше будет соответствовать историческим фактам, если Вождь будет просто хлопать в ладоши. Так веселились, пировали, а между тем время было сложное.

Замечательная актриса Гиацинтова, она играет рабоче-крестьянскую мать Варвару или Варвара играет роль Гиацинтовой, это все равно, озабоченная, покидает праз-

дничный зал. Ее не оставляют тревожные мысли. И вот она сидит где-то в закутке, кутается в оренбургский пуховый платок. Геловани входит и садится тут же. Это одна из самых важных, ключевых сцен. Она производит глубокое впечатление. Варвара спрашивает Вождя: будет ли война? Да, говорит он, и все в зале понимают, что каждое слово Вождя взвешено и продумано. Эту сцену товарищ Сталин сыграл с изумительным мастерством. Да, войны не миновать. И Варвара ему отвечает: что ж, нашему поколению не привыкать преодолевать трудности. Так они разговаривают, сидя вдвоем, Варвара и Вождь, отец и дочь. И то же время как бы муж с женой. И, само собой, мать и сын. Етить твою мать! Мировая кинематография ещё не знала произведений такой художественной глубины, такого исторического размаха.

Гитлер, живая карикатура, надрывается, бьет себя в грудь. Наша делегация в Париже, по указанию Вождя хочет начать переговоры, создать фронт миролюбивых народов. Но у французского и английского министров своё на уме, они ведут двойную игру и хотят столкнуть лбами Гитлера и Советский Союз. Бонне, сучий потрох, отплясывает в ночном притоне, типичный французский разврат, а Чемберлен юлит и лицемерит, что характерно для англичан. Вождь всё это предвидел. Под музыку Шостаковича тевтонская рать идет на Москву. Американский журналист Роджерс, тот самый, который спрашивал, почему не было некролога, советует Вождю мотать из столицы, пока не поздно. Нет, отвечает Геловани, Москва сдана не будет. Так и произошло, и пошла потом победа за победой. Здесь создатели фильма следуют выводам военно-исторической науки: удар – победа, следующий удар – следующая победа, восемь знаменитых сталинских ударов, в который раз всё совершилось по предвиденью и по планам Геловани. Ясно, что и в дальнейшем всё пойдет как по маслу, завершится новой встречей русской матери Варвары с Вождем, тут уже не съёмочная площадка – Вождь произносит речь в настоящем Кремле, великая клятва выполнена, конец.

Брызжет тусклый свет с потолка, люстра горит вполнакала. Все сидят, как пришибленные. Обалдев от величия времен и событий, от громяющей музыки и спертого воздуха в зале. Начали стучать откидные сиденья, очереди между рядами, толпа валит к выходу. Тускло светится после дождя пустынная площадь, еще не рассеченная полуподземной трассой в те баснословные времена.

## 28. Провожание и обмен мнениями

А чем тут, собственно, обмениваться. В молчании обогнули каменный шатёр станции метро «Арбатская».

Марик Пожарский заметил, что здорово все-таки показана Сталинградская битва.

Иванов: «Угу».

Ещё прошли шагов двадцать.

«Здорово он танцевал с любовницей».

«Кто?»

«Ну, этот».

«Угу».

«Это что, танго?»

Ира подтверждает, что это было танго.

Вот так же точно двоюродный брат танцевал на даче. Но о даче не хочется вспоминать, и Марик ограничился замечанием, что Владислав мог бы не хуже этого артиста сыграть.

«Это не артист. Это документальные кадры».

Тёмносинее небо дышит спокойствием, никто не попадаетея навстречу. Троица побрела к устью улицы Фрунзе, повернули направо, пересекли поблескивающий трамвайный путь. Ира с Мариком впереди, за ними, сторбившись, опираясь на палку, поспешает Юра Иванов. Постукивает его посох, мерцают стеклышки, но во время сеанса он сидел без пенсне.

Окруженный желтыми фонарями, в кресле на своем цоколе, завернувшись в крылатку, сидит удручённый Гоголь.

Надо ли что-нибудь говорить? Фильм, словно грохочущий эшелон, переехал зрителей и понесся дальше. Назвать его увлекательным, интересным? Не те слова. Грандиозный фильм провернул, как мясорубка, сквозь себя всех и каждого – и выдавил фарш.

«А Буденный впрыскаю».

«Это не Буденный».

«А кто же. Не узнал усищи, что ли».

«Буденный уже не маршал».

«Как это не маршал?» – удивился Марик.

«Обосрался во время войны». Иванов покосился на Иру, ещё не было принято выражаться при барышнях.

«Самые длинные в Советском Союзе».

«Откуда это известно?»

«Я читал».

«Унтер-офицерские. Он был унтер-офицером до революции. Бывают длинней».

Разве не о чем больше говорить? Надо ли говорить... О чём? Все было ясно. Ничто не происходило случайно, не рождалось само собой, все выполняло высшую задачу, великолепный фильм. Торжество исторической необходимости. И, может быть, поэтому в нём было скрыто нечто мистическое. Фильм, где не было ни одного невыдуманного кадра, ни одной естественной сцены и ни одного слова правды, таил в себе истину по ту сторону правды и лжи. Это была история, превратившаяся в мистирию. Это был мрамор, похожий на картон. Видимо, Марик Пожарский в своих коротковатых брючках просто не понимал этого, не чувствовал, для него это был картон, раскрашенный под мрамор. Грошовый скепсис. Нигилизм недорослей. Между тем задача, и смысл, и роскошь всего произведения состояли в том, чтобы заново сотворить мир – не более и не менее.

Надо было отменить незаконное, сомнительное, двусмысленное, хаотически-беспорядочное прошлое – прошлое, в котором чёрт ногу сломит, – и установить прошлое, стройное, как геометрический чертёж. Надо было учредить новую, грандиозную, феерическую Историю с большой буквы. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Это была новая мифология, почище шумерской; действие, которое разыгрывали, сменяя друг друга, зловредные и благие божества, а где-то в низинах, куда стекали помои, обыкновенные люди старались им подражать. Божественный отблеск должен был играть на их лицах. Существуют ли боги на самом деле, существовал ли Вождь? Праздный вопрос. Что значит «на самом деле», – ведь это совсем не то, что На Самом Деле. На экране улыбалось, говорило, разглаживало усы и расхаживало в сапогах его земное воспроизведение. Все знали, что это актёр. Но актёр поразительно был похож на Вождя, потому что никто не знал, каков был Вождь «на самом деле». Актёр был как две капли воды похож на портрет Вождя. Устами актёра вещала мудрость Вождя, глазами, прищуренными, как у Вождя, взирало на зрителей провидящее око. Он появлялся, он шествовал, как если бы это был он сам; это и был Он Сам. Вот он идет по снежной тропинке, одинокий, погруженный в раздумье, в меховой шапке с опущенными ушами, не сразу можно его узнать, поскрипывает

снег. Но уже осенила догадка. Излучение коснулось сидящих в зале. Искусственное, инсценированное излучение, в меру возможностей искусства. Но только искусство, это тоже все понимают, способны изобразить Вождя, ибо тот, кто существует на самом деле, все равно что не существует. Никто его никогда не видел. Только в кино.

«Китаец, вот он кто».

Юра Иванов, холодно:

«Не понял. Будённый, что ли?»

«Да какой Будённый...»

Ира:

«Перестань. Чтобы этих разговоров в моем присутствии...»

«Все они китайцы, бывает такой дальневосточный идиотизм».

«Я сейчас уйду от вас».

Но есть во всё этом и другая сторона, существует высокая политика и трезвая целесообразность, и сопляк Пожарский не имеет о них ни малейшего представления. Проходит наваждение, бледнеет фантасмагория, пока они бредут с Гоголевского бульвара на Арбат, – и Марика Пожарского так подмывает спросить: а как же он сам? – Кто – сам? – Ус! Смотрит на все это где-нибудь там и терпит эту беспардонную лесь? В книжке Фейхтвангера говорится: Вождь пожал плечами и сказал, что же я могу поделывать.

А, между прочим, интересно, как это он умудрился прочесть «Москву, 1937 год»? Книга была изъята. А вот так: в эвакуации, в сельской библиотеке. Преспокойно стояла на полке. Зачем нужны сто тысяч портретов человека с усами, спросил Фейхтвангер. Вождь ответил: что я могу поделывать, раз меня так любят. Как – что? Прекратить, сказать: хватит! Но лесь ему нравится. Он ее поощряет! Сколько ни вывешивают портретов, ни воздвигают статуи, ему все мало.

Этот дурак не понимает...

«Кто дурак, я?»

«Кто же еще. Ну и что там дальше сказано?»

«Он говорит: я не могу им приказать».

«Не может приказать. В том-то и дело!»

В том-то и дело, что монументы воздвигаются ему – и не ему. Мудрый Геловани – это он и не он. Потому что одно дело человек в Кремле и совсем другое тот, кто на портретах; потому что надо, необходимо, чтобы существовал хозяин, без него все повалится. Без него наступит хаос. Ради этого, хочешь не хочешь, согласишься на любую лесь. Какое там приказать – он вынужден отделиться от самого себя, не зря он себя называет в третьем лице. Люди шли в бой с его именем... Примерно так хочет, по-видимому, возразить Иванов, урезонить этого сопляка. Но сегодня Юра двигается через силу, сгорбленный, тащит пудовую ногу. Путь не близкий.

Пора расходиться, но Марик Пожарский выражает желание проводить Иру до дому. Иванов хмуро плетется рядом. В этот момент чувствуется, что он лишний. В этот решающий момент Марик, разгоряченный спором, полночным часом, призрачными огнями, мог бы вымолвить, наконец, что-то, что навечно отпечаталось бы в сердце Иры Игумновой. Пустые темные витрины на узком и безлюдном Арбате, влево уходит кривоватый Большой Афанасьевский переулок, трое топчутся перед крыльцом, над которым светится номер, и, как всегда, не знают что сказать друг другу.

## 29. О чём горюет Гоголь

О чём – сторбленный, в кресле, кутаясь в крылатку? О сожжённом Втором томе? О своей России в бесконечной дали дорог, засыпанных снегом, залитых осенней грязью, о страшном городе нищеты и разбоя, о том, что скоро стащут с пьедестала – уже принято решение – и повезут на Никитский бульвар, во двор постылого талызинского дома, где так мучительно страшно пришлось умирать, а на его законном месте водрузят другого Гоголя, самозванца, которого он знать не знает, слыхом о нём не слыхал?

Русь, дай ответ. Не даёт ответа.

Ночь, тусклый блеск фонарей, и на скамейке фигура одинокого пешехода, присевшего отдохнуть. Что-то происходило наверху, человек-памятник с птичьим носом перевёл затравленный взгляд с Юрия Иванова на кого-то там: они приблизились, сначала двое. Потом их стало трое. Поодаль на атасе ещё один.

Он поднял голову. Над ним стоял квадратный, тупорылый, с раздавленным носом.

«Кого я вижу! – прогундосил. – Здорóво, землячок».

Иванов окинул компанию сумрачным взглядом.

«Чего молчишь-то? А может, это не он?»

«Он», – сказал кто-то сзади.

«Здорово, говорю. Не узнаёшь?»

«Узнаю. Чего надо?»

«Чего надо... А? – удивился с перебитым носом и взглянул на своих. – Он спрашивает».

«Вот что, отцы, – сказал Иванов устало. – Отчаливайте. Я за себя не отвечаю».

«Чего-чего?»

«Валите отсюда. По-хорошему».

«Между прочим, должок за тобой. Бухой был, забыл?»

«Не забыл».

Иванов стал подниматься.

«Куда? – спросил гундосый. – Мы ещё не поговорили».

Иванов усмехнулся.

«Ну-ка, Манюня...»

Он не успел встать, как получил удар крюком под скулу, пенсне слетело на землю.

«Проси прощения, гад!»

Иванов отступал, косясь по сторонам, медленно занёс палку.

«Полегче. Знаем, какой ты храбрый».

Манюня врезал ещё раз. Кто-то, изловчась, вырвал палку у Иванова. Тупорылый сразмаху треснул по спинке садовой скамьи, трость разлетелась пополам.

Он занёс ногу над стёклышками.

«Подними, сука, гад недорезанный».

Иванов озирался – может быть, искал на земле что-нибудь тяжёлое.

«Подними, говорят... Раздавлю на х...!»

Тут раздался свист, и компания исчезла. Чьи-то сапоги скрипели по песку. Человек шёл по аллее, остановился, увидев полулежащего на скамейке, покачал головой и пошёл дальше.

В полутьме Юрий Иванов прижимал к губам и носу окровавленный платок, осколки пенсне блестели на песке. Он решил посидеть ещё немного. Тупо, тяжело проворачивались мысли, плескалась вода, его качало, он стоял, держа перед глазами тяжёлый морской бинокль.

Огоньки во мраке, один, другой, ещё несколько, и пропали. Он снова сидел на скамейке перед каменным Гоголем, но на самом деле склонился над переговорной трубой: объект впереди по носу.

Иванов громко, длинно выругался.

### 30. Марик Пожарский решил на отважный поступок

Видение девушки в красном платье вновь посетило Марика Пожарского и тотчас померкло: тут было другое; тут вступила, можно сказать, в свои права литература. Ибо писание волнительней того, о чём пишут. Писание – это заменитель того, о чём пишут. Не зря в таких случаях употребляется двусмысленный глагол «излиться».

Наше существо тянется навстречу той, которая излучает магнитное поле, но истинная причина любви – в нас самих; причина – наше ожидание, потребность испытать воздействие поля, жажда любви. Такая любовь оказывается чрезвычайно хрупкой, и если она не осуществилась, благодарите судьбу; надежда прекрасна до тех пор, пока остаётся надеждой; чего доброго, и тоска, и восторг, и обожание испарились бы на другой день после того, как робкий обожатель сподобился бы, наконец, «овладеть» Ирой. Остался бы привкус чего-то, на что совсем не рассчитывали, осталось бы бедное женское тело; а пока...

*Я к Вам пишу – чего же боле...* В стихах? Гениальная идея. Однако по зрелом размышлении этот проект был отвергнут. Тут нужна была проза, серьёзная, в меру страстная, проникновенная, и вообще ему было сейчас не до рифм. В конце концов она и прежде наверняка догадалась, что его стихи были адресованы более или менее ей. Наступило время прямой речи.

*Дорогая Ира! Или нет, проще. Ира! Я давно собирался...*

Он сидел в том самом «русском кабинете», из которого вышел однажды во время перерыва – как давно это было, – и увидел её, она стояла у балюстрады, кто-то шёл внизу внизу по лестнице, и она привстала на цыпочки, отчего платье приподнялось на её бёдрах, и открылись обтянутые чулками подколенные ямки; он сидел за столиком у стены, под уютной лампой, никому не мешая, а в углу напротив, на стульях и на диване расположилась группа русского отделения. Что-то бубнил вдохновенный доцент. Марик Пожарский вперил взгляд в бумажный лист. Перо, предоставленное самому себе, чертило что-то, выводило причудливые знаки.

Как известно, решающим шагом в расшифровке экзотических письмён была догадка, что мы имеем дело с письмом, а не с орнаментом. Что это, от кого это, скажет она, получив письмо по почте без обратного адреса.

*Ира! Я давно уже собирался...*

И вдруг – неизвестный алфавит, шифр.

Буквы нельзя придумывать как попало, буквы должны быть выдержаны в одном стиле. Нужно взять за основу графический архетип: круг, квадрат, угол. Буквы круглые, тонкие, похожие на кружева, как буквы грузинского алфавита, или свисающие с перекладины, как письмена санскрита, или извивы и локоны готического шрифта, или копыта и наконечники стрел рунического письма. Это был какой-то зуд, болезнь – изобретать письменность, выводить загадочные узоры и гадать, что они означают, как будто знаки существуют прежде всякого содержания, сами порождают неведомый смысл, и началась эта болезнь ещё в детстве.

Конечно, это лишь способ оттянуть неизбежное. Решение принято. Он порвал бумагу и оглядывался, куда бы выбросить. Положил перед собой чистый лист, умокнул перо. Теперь кто-то на диване зачитывал реферат.

*...стало вехой в послевоенной советской поэзии. Такие стихотворения, как «Стеной стоит пшеница золотая», как ставшее уже классическим «Слово к товарищу Сталину». Семинар по Исаковскому. Дураки!*

*Ира! Я давно хотел сказать тебе. Его рука снова чертит завитки. Увлекательное занятие. Задача – обойтись минимальным набором простых элементов, создать из них всё возможное разнообразие знаков. Секрет письменности, между прочим, в том, что не всякий знак обязательно что-то значит! Бывают нулевые знаки. Вот эта буква, например, означает просто паузу. Знак может выражать настроение пишущего. Знак предупреждает: речь пойдёт о тайном, неизречённом.*

*Сколько можно? Сколько можно бубнить о поэтическом мастерстве стихоплёта, который даже не заслуживает того, чтобы его читать. Сколько можно марать бумагу дурацкими закорючками, вместо того чтобы... Нога осторожно придвигает мусорную корзину. Марик занят рисованием. Портрет Исаковского, весьма реалистический, на тоненьких ножках, в лаптях и с лирой. Нет, пожалуй, с гармонью.*

*Снова замерло всё до рассвета.  
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.  
Только слышно на улице где-то.  
Одинокая бродит...*

*Туда ему и дорога. Казнённый крест-накрест, скомканный стихотворец летит в корзину. Художник воровато поднимает глаза: теперь перо рисует её. Нет, конечно, не конкретную её. Вечный сюжет искусства: Марик рисует Женщину. Круглое лицо и локоны наподобие ионической капители. Шея и плечи. Некоторую трудность представляют растопыренные руки, которые получились слишком короткими. Зато какие груди! Талия... широченные бёдра. Пах, похожий на нос корабля, на расщеплённое перо.*

*Его отвлекает движение в углу комнаты, доцент встал с дивана, задвигались стулья: перерыв. В панике Марик Пожарский комкает похабный рисунок, выгребает бумагу из корзины, прочь, прочь отсюда.*

### 31. Только слышно на улице где-то

*Всё происходит в одно и то же время. Все живут в одной стране. Каждого обнимает общая жизнь. Поздно вечером в толпе, на перроне Казанского вокзала стоит человек тщедушного сложения, в валенках и полушубке, в мохнатой шапке-ушанке – реликт бывшего благополучия. Пассажир втиснулся со своим багажом в вагон. Всю ночь и весь следующий день он качался, сперва притулившись в проходе, затем лёжа на освобождённой верхней полке, следовал маршрутом демобилизованных и заключённых, всех, куда-то и зачем-то едущих, для кого тряска в переполненных поездах, шапка под головой, чтобы не стащили, стук колес на стыках, как стук огромных часов под ухом, остановки, пересадки, блуждания по путям, ночёвки на вокзалах превратились в образ жизни. Удивительным образом после несчётных потерь страна по-прежнему была битком набита людьми. На рассвете третьего дня пассажир выглянул в окошко и увидел заснеженные леса, услышал свистки, почувствовал, что его тащит к изголовью, поезд шел по дуге, видна была загибающаяся цепь вагонов, поезд затормозил, завизжали колёса. Медленно поехали навстречу и остановились тусклые огни. Гром прокатился по вагонам. И – снова свисток, вагон вздрогнул. Поезд нёсся вперед сквозь сизую мглу, путе-*

шественник дремал на полке, провиант был съеден, день померк. В сумерках он стоял с вещами в тамбуре, боясь пропустить свою станцию.

Было уже совсем темно, когда он добрёл до калитки, взошёл на крыльцо и, удостоверившись, что это тот номер, который нужен, оглядевшись, постучал в дверь. Чье-то лицо вглядывалось во тьму, отогнув занавеску, между горшков с цветами. Он миновал тёмные сени и вступил в просторную горницу, где пахло кислым теплом и уютом, на столе сияла керосиновая лампа, на комодке будильник отстукивал неподвижное время. Пока там, за тысячу вёрст, под гнусаво-торжественный перезвон выстраивались в караул могучие стрелки, гудел колокол, бился над куполом чёрный с кровавым отливом флаг, пока сменяли друг друга сутки, месяцы, годы, – здесь тянулся один единственный год, здесь время ползло так же медленно, как ползёт стрелка будильника. И встретили его так, словно он отлучался ненадолго.

Былинкин сидел без шапки и полушубка, босой, шевелил грязными пальцами ног. Вошёл, припадая на ногу, хозяин в зелёном поношенном кителе без погон, с бутылками в обеих руках. «Может, они сперва желают попариться? – спросила хозяйка. – С дороги-то небось». Сегодня как раз истопили, объяснила она. «А не поздно ли?» – «Чего поздно. Воды ещё полкотла». Гость сообразил – в дороге всё спуталось, – что сегодня суббота. «Веничком бы, оно для здоровья полезно. А может, и того», – прибавила она. Военрук подмигнул: «Это мы устроим».

Былинкин шествует под предводительством хромого военрука, покорно бредёт по улице спящего городка, хозяйка несёт таз, веник и узелок с чистым бельём. Слепо отсвечивают мёртвые окна, высоко над углстыми крышами сияет оловянная луна.. Покойное, безопасное захолустье, не надо ни о чём хлопотать. Отсюда глядя, какая эта была изматывающая жизнь. В конце концов ему дали хороший совет – убраться подобру-поздорову. На время, добавил кто-то. Что ж, переждём.

Гость остался один в предбаннике, в исподней рубахе и кальсонах. Оцепенелый, он не может заставить себя встать. Лампа под колпаком разбрызгивает тусклый свет, сыро, тепло, пахнет деревом, тянет гнильцой. Приезжий вздохнул. С усилием стянул с себя пропотевшее бельё, переступил, наклонив голову, через порог парной. Былинкин научился париться в эвакуации. Он вскарабкался на полók – отдохнуть, погреться, подумать о своей жизни. Он устал от этой жизни, как устают от долгой дороги. Ему показалось, что он всё ещё едет, раскачивается на полке и слушает перестук колёс. Он открыл глаза. Что-то скрипнуло в предбаннике, захлопнулась дверь. Кто-то вошёл. Он хотел спросить – кто там? – ждал, расставив тощие коленки, упёршись в полók ладонями. Тишина; видимо, заглянули и вышли. В эту минуту кто-то толкнулся в тяжёлую забухшую дверь, и призрак в белом, с огромными, блестящими в полутьме глазами вступил в парную.

## 32. Happy end

Былинкин никому не писал, не предупреждал о своём приезде. Он поразился даже не тому, что она явилась, а какой она стала. Голоногая, луннолика, с крепкой шеей, с полными белыми плечами, в короткой ночной сорочке с кружавчиками. Волосы сзади пучком. Она притворила за собой дверь, стояла в нерешительности. «Ты?» – спросил он растерянно.

Вот оно что, думал он, всё подстроено, и уже не выбраться отсюда. Он знал, что военрук приезжал в Москву не один. И он был рад, когда оказалось, что их быстренько спровадили, не понадобилось объясняться с Валентиной, с её братом, он вообще с ними не виделся. Значит, это был заговор. Они укатили назад с твёрдой увереннос-

тью, что Былинкин вернётся, и, хотя никто ему в парткоме не говорил: возвращайся в Агрыз, просто намекнули, что лучше уехать куда-нибудь подальше, – им самим не хотелось, чтобы дело приняло слишком уж громкий оборот, надо было спустить дело на тормозах, – хотя никто так прямо не сказал, но подразумевался Агрыз, и теперь ему было ясно, они пообещали военруку надавить на Былинкина, заставить его вернуться.

Он даже не спросил, как она тут оказалась, не спросил о ребёнке, – кажется, это была девочка, – он смотрел на неё во все глаза, и мгновенная мысль о бегстве, дескать, позабыл что-то, сбегая и вернусь, а самому – на вокзал, в кассе купить обратный билет, и поминай как звали, – мысль эта спуталась с другой мыслью, вообще что-то начало мешаться в голове, то, что он сидел голый, разомлевший в тепле, не давало сосредоточиться. Валентина стояла в сорочке, приподнятой на груди, такой высокой груди у неё никогда не было. Была жалкая, тощая, глупая, как пробка, мыла полы в клубе. Он втянул в себя воздух, съёжился и прикрыл низ ладонями. Валентина, смотрела на него, подняв лицо с приоткрытым ртом, видно было, что она волнуется, кружева вздымались на ней, точно она не могла отдышаться. Теперь в Агрызе живу, пролепетала она, но непонятно было, у брата или отдельно от них.

«Дай-ка мне...» – сказал Былинкин, показывая на ковш, она поняла, бросилась к бочке в углу, белоногая, пышнобёдрая, со скрученными на затылке волосами, подала ковш. Плеснуть в лицо холодной водичкой, придти в себя. Успели-таки подсунуть ему рюмку зелья. Былинкин перевёл дух. И чем больше он трезвел, тем больше успокаивался. Тем сильнее было это чувство – ничего не спрашивать, ни о чём не думать. Всё образуется, всё устроится само собой. Валентина вышла в предбанник снять сорочку. Гость пил из коша, провёл по лицу мокрой ладонью. Гость ли? Как-то, не спросясь у него, само собой получалось, что он вернулся насовсем. Из командировки, с учёбы. Женщина зачерпывает горячей воды и швыряет на раскалённые камни. Шипя, вырывается белая струя, горячий пар обжигает лёгкие, тускло, жарко, она уже не стесняется своей наготы, деловито мочит в шайке берёзовый веник. Так и положено: мужик на полкё, супруга с веником.

Он лежит плашмя, щекой на скрещённых руках. Валентина лезет наверх с деревянной шайкой. Над ним колышатся её груди, перед глазами круглые женские ноги. Она погрузила веник в горячую воду. О-о! Бывший студент, бывший герой-партизан, бывший секретарь бюро и член комитета, свергнутый, осмеянный, одинокий, полуживой с дороги, корчится в облаках пара, изнемогает от наслаждения под хлещущими ударами. Ох, хорошо. И ничего больше не надо.

Он сел, отдуваясь. Шальная мысль, не тряхнуть ли стариной, прямо здесь, на горячем полкё, растворилась в парном довольстве. Сидят рядком.

Али ещё поддать?

Былинкин сошёл с помоста, опираясь на руку женщины, покорный, умиротворённый, да и о чём волноваться, всё образуется. Его усадят в прохладном предбаннике. Валентина, с головой, обмотанной полотенцем, оботрёт ему спину, и живот, и в паху, и ноги, и натянет, чтобы не простудился, колючие вязаные носки, и поможет одеться, и нахлобучит шапку. И пойдут они рядом, она с тазом под мышкой, он, держась за неё, словно чем-то опоённый, под высокой серебряной луной, по спящей улице, где всё замерло до рассвета, *дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь*, а там уже стол накрыт жесткой крахмальной скатертью, опрокинуть в рот хрустальную стопку, закусить твердым, с лёдника салцом, огненной рассыпчатой картошечкой, малосольным огурчиком, многоглазой, оранжевой, как заря, на громадной чугунной сковороде, глазуньей. А там и борщ, и котлеты, и опять по стопочке, по полной, кушайте на здоровье, Игорь Семёнович. Никто не спрашивает, какие у него, собственно, планы. Несчастный, тощий, с хохолком волос на темени, Былинкин сидит возле разруганн-

шейся, как яблоко, помалкивающей, счастливой Валентины, ни дать ни взять – молодожёны. Будет тебе, отец, умеряет хозяйка расстаравшегося военрука, не очень-то его спаивай, – и всем понятно, что́ она хочет сказать, бабы – они дело своё знают, впереди брачная ночь. А что будет завтра, не всё ли равно, утро вечера мудренее.

### 33. Ремонт. Мы не от старости умрём

Иванову Юрию Михайловичу выдали направление на стационарное лечение в областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, но туда пришлось бы неделями ждать очереди. Последнее обострение было в ноябре, после драки на даче у Владислава; всем троим пришлось топтать в крошечной тьме по грязному хлюпающему снегу и просидеть на станции до утра в ожидании электрички. Была, по крайней мере, причина. Сейчас особых поводов для рецидива не было, но стояла гнилая, промозглая погода, ни зима ни весна, поселившая колотье в отсутствующей ноге; вечерами охватывала тоска, некуда податься, невозможно согреться из-за озноба; культя была воспалена, пришлось отказаться на время от протеза. В виду этих обстоятельств Иванов пил целую неделю, почти ничего не ел, к ужасу матери, не показывался на занятиях. Да и не мог представить себе, как это он появится в университете на костылях. В поликлинике врачаха изъяснялась туманно, наконец, было произнесено это слово: остеомиэлит, знакомое по тем временам, когда он кочевал почти полгода по госпиталям. Культя была с самого начала плохо, наспех ушита в Эльбинге, в дивизионном ППГ.

Ждать очереди не имело смысла, пришлось лечь в районную больницу, чему Юра был даже рад, хотя и здесь первые две ночи провёл в коридоре. Завотделением попенял ему, что он запустил обострение, пригрозил – еще раз повторится, придется делать экзартикуляцию в тазобедренном суставе, сам понимаешь, не радость. Операция по укорочению (это называлось «освежить» культю) была произведена в старинной Екатерининской больнице № 24 на Петровском бульваре, где они долго стояли в очереди перед регистратурой, старуха в грязнобелом халате поверх пальто водила пальцем по строчкам, переспрашивала палату, имя, отчество, которого, как оказалось, ни Марик, ни Ира не знали. В больнице, снаружи импозантной, с ампирными колоннами, было тесно и грязно, продолжался ремонт, затеянный ещё накануне войны; лифт всегда занят, поднимались по узкой лестнице, пробирались по коридорам мимо баб-малярок, ворочавших длинными кистями, в заляпанных робах, в платочках до глаз, шли навстречу пробегавшим сестричкам, мимо коек с больными, лежавшими в коридоре, и полуоткрытых дверей в палаты, где всё свободное место было заставлено койками. Вошли, несмело озираясь, оглядывая лежащих. Юра лежал у окна, рыжий, почернелый и осунувшийся, без пенсне, поднялся было в постели с почти испуганным выражением и тотчас лёг, – не хотел, подумала Ира, чтобы увидели его без протеза. Оба топтались между кроватью Иванова и соседней, свежестеленной, кто-то умер ночью, и кого-то должны были перевести из коридора на освободившееся место.

Ира положила на тумбочку приношение. Друзья сидели рядком на краешке незанятой койки. Марик поглядывал в окно, деревья уже покрылись зелёным дымом, серые облака плыли над городом, томительная свежесть сочилась из открытой фрамуги, из-за поворота на бульвар показался трамвай.

Потух вечерний свет, улеглась суeta, сделан укол, сестра собрала градусники, субфебрильная температура. В коридоре шорох, плеск воды; сейчас начнётся качка – которую ночь одно и то же. Мужик рядом тоже не спит. Вдруг оказалось – вовсе не «экзитировал», лежит носом кверху как ни в чём не бывало.

### 34. Ремонт. Девочка ничего себе

Тебя унесли, я сам видел, сказал Иванов.

Унесли, а потом принесли.

Ты умер.

Как и ты.

Я жив.

Значит, и я жив.

Иванов потёр лоб и сказал, что он всё понимает. Что понимает? – спросил сосед. Понимаю, сказал Иванов, что это бред, утром вкатили каталку и увезли труп. Потом приходили, сидели на пустой койке, Ира и Пожарский. А ты кто, вообще-то? – спросил Иванов. Что-то я тебя не помню.

Мореходку вместе кончали.

Не было такого, не помню.

Как это не помнишь. По случаю приближения немцев досрочно всем офицерские звёздочки, фуражки новенькие с крабом, прямиком из училища – в Кронштадт, это ты хоть помнишь?

Конечно.

Ага, сказал человек, значит, не совсем память отшибло. Всю зиму на базе проторчали. «С-13» в сухом доке. Загляденье, а не лодка. Гордость отечественной техники.

Какая там гордость, вся изуродована глубинными бомбами.

Это что же – значит, уже после?..

Не после, а ещё до нас. Вот, думаем, и с нами, может, произойдёт то же самое.

Постой, сказал Иванов, это ты говоришь или это я сказал?

А какая разница – я, ты... Маринеско говорит: ребята, ещё немного потерпеть.

Капитан третьего ранга.

Он самый. Известный бандюга. До Нового года, говорит. А там дадим фрицам прикурить.

Хочу спать, сказал Иванов.

Я тоже.

Ты-то причём, тебя нет.

Значит, и тебя нет.

*Мы не от старости умрём. От старых ран умрём.*<sup>1</sup>

Интересно. Кто это сказал?

Так, один.

Ты их слушай, они тебе наговорят... А это кто такие были, на моей койке сидели? Девочка так себе. Лучше не мог подобрать?

Много ты понимаешь.

Не, я шучу. Похожа на ту.

На кого?

На ту... Ну, и как у тебя с ней?

Никак.

Не даёт, что ли?

Пошёл ты к е... матери, я спать хочу.

Юра Иванов прислушался, с кровати раздавался храп; отвернулся к стене, уверенный, что никакого разговора не было, просто подскочила температура, но дело обстояло как раз наоборот, фантазией было явление Иры с Пожарским. Он стал думать об Ире, о том, что она войдёт снова, – почему бы и нет? – прокрадётся к нему в темноте и сядет на кровать, но мысли его отвлеклись.

---

<sup>1</sup> Семён Гудзенко (1922–1953).

Всю зиму ремонтировали, залатали корпус. Вертикальный руль пришлось менять.... Иванов ждал, что скажет сосед. Мужик на койке молчал. Иванов снова лёг на спину, стараясь поудобней устроить забинтованную культю, и скосил глаза: так и есть, чья-то голова на подушке. Ремонт был закончен, лодка как новенькая, потом отработка боевых задач в Неве между мостами, в охтенском море. В эту минуту он понял, что это его голова лежала на подушке, и окончательно успокоился. Он пробирается между койками. Упругим шагом выходит в коридор, видит спящую за столом дежурную сестру, поднимается по лесенке на командный мостик.

## 35. Атака

Второй помощник капитана стоит на мостике рядом с антенной и трубой перископа, в шерстяном свитере, в меховом комбинезоне-канадке, завязки капюшона затянуты, над водой мороз градусов под двадцать с ветерком. Днём радиограмма из штаба флота: в связи с успешным наступлением наших войск возможное появление транспортных судов в районе Мемеля и Данцигской бухты. Хлопнул правый дизель, за ним левый. Зачавкали компрессоры. Лодка раскачивается в килевой качке, идём в район перехвата. Штормит, брызги замерзают на лету, колючие льдинки бьют в лицо. Несколько слабеньких точек, как светлячки, в снежной мгле. Исчезли. Он снова подносит к глазам тяжёлый морской бинокль с 22-кратным увеличением, докладывает: прямо по носу огни.

Голова в ушанке показалась из люка, командир вылезает на мостик. Капитан третьего ранга поднимает к глазам бинокль. Ага... вон он где, голубчик. В переговорную трубу: боевая тревога! Право руля, курс 240. Акустик докладывает из рубки: слышу гул двухвинтового судна на большом ходу. Лодка, накреньясь, катится вправо. Разворачиваемся носом к объекту. Командир приказывает принять балласт, лодка оседает, теперь она не так заметна, волны не сбивают её с курса. На мостике ледяной вал то и дело накрывает с головой и скатывается по гладкому корпусу. Проходит четверть часа, лодка идёт к цели.

Теперь уже хорошо видно. Большой, не меньше двухсот метров в длину, ярко освещённый, пяти- или шестипалубный лайнер идёт со скоростью, какую позволяет запрудившая все палубы человеческая масса, высоко на передней мачте бьётся крошечный флаг, и ещё два, один флотский со свастикой, другой с санитарным крестом, волочатся по ветру за кормой. Хлопнула крышка люка над головой, вслед за командиром вахтенный офицер спускается по лесенке. Срочное погружение.

Гулкое эхо в глубине моря, это лайнер, ударившись о скалистый грунт, подпрыгнул, как мяч, и грохнулся снова, подпрыгнул ещё раз, рассыпая обломки, и окончательно успокоился на дне. В шлемофонах нарастающий гул переходит в рёв, его сейчас можно слышать без приборов, миноносцы преследуют лодку. «С-13» то и дело меняет курс, набирает глубину. Слишком медленно – вот тебе и гордость отечественной техники. Командир ведёт лодку туда, где наверху, на поверхности, плавают обломки, барахтаются пассажиры погибшего лайнера, там бомбить не будут; рёв винтов, стрекочущее эхо гидролокаторов всё сильнее, – у-ух-х, бух-х, – взрывы глубинных бомб то уходят раскатами, то приближаются. Все сжались, скрючились в тесном закутке, молчим, сидим, ждём удара, и в сумерках палата, где Юрий Иванов с замотанным в бинты обрубком ноги, сторбленный, открыв рот, вперясь в пустоту, сидит перед пустой свежезастланной койкой, на которой накануне умер кто-то, – палата, два светлых окна, – медленно наполняется водой.

## 36. Трое на льдине

То, что Марик Пожарский равнодушно относился к поэтам-фронтовикам, к Межирову, к Гудзенко, ни в грош не ставил прославленных стихотворцев Суркова и Симонова (*Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...*), издевался над скромным полузрячим создателем «Одинокой гармонии» и «Слова к товарищу Сталину», всё это ещё куда ни шло. Но замахнуться на Поэта Революции! Марик утверждал, что Демьян Бедный писал ничуть не хуже.

«Семинар по Маяковскому! – И, сделав страшное лицо, утробным басом: – Другим странам – по сто! История – пастью гроба!.. Ба-альшой был юморист».

Все трое стояли перед расписанием лекций в зале между двумя коридорами. Брели по коридору, впереди Ира и Пожарский, сзади поскрипывал протезом Юра Иванов.

Он спросил вяло: «Слушай, а что ты вообще понимаешь?»

Марик, не оборачиваясь, надменно:

«Ну, уж в поэзии я немножко разбираюсь».

Ира:

«А мне Маяковский нравится. И у Симонова есть хорошие строчки.

Над чёрным носом нашей субмарины  
Взошла Венера, странная звезда...

Тебе нравится?»

«Мне?» – спросил Иванов и пожал плечами. Стихи, если уж начистоту, – чушь собачья, какие там звёзды над лодкой, идущей в разрез волны, в кромешной мгле под хлещущим ветром.

«Ей всё нравится, – парировал Марик. – И то, и это... А вот ты мне объясни...»

Вышли на лестничную площадку.

«Ты мне объясни, стихи о советском паспорте: что это значит – по длинному фронту купе и кают? Где происходит действие, в поезде или на пароходе? Я достаю из широких штанин! – закричал он, прыгая по ступенькам. – Выходит, сразу из обоих карманов. А эти папаши, каждый хитр. Картонная поэма, знаешь, кто это сказал?»

Иванов сходит, держась за перила, выставляет трость, опускает ногу. Ира прыгает рядом. Марик ждёт внизу.

Сурово:

«Товарищ Подвойский сел в машину. Сказал устало: кончено. В Кремль».

Тоненьким голоском:

«Товарищ Подвойский прыг в машину, весело крикнул: кончено, в Кремль!!!»

Шопотом:

«Вы слышали? Товарищ Подвойский сел в машину. Неужели? И что? Как что? Кончено! В Кр-ремль...»

«Ну ты полегче, полегче».

И всё повторяется, все трое понимают, что не в этом дело. Не в Маяковском, пропади он пропадом.

Пред испанкой благородной  
Двое рыцарей стоят.  
Оба смело и свободно  
В очи прямо ей глядят.

«Ну, хорошо. – Иванов говорит спокойно, рассудительно. – Тебе виднее. Но неужели ты не хочешь признать, что он сам совершил революцию, в поэзии, в литературе. Что, в конце концов...»

Они вышли во двор. Ира – медленно, влюбленно:

Уже второй.  
Должно быть, ты легла,  
а может быть,  
и у тебя такое.  
Я не спешу,  
и молниями телеграмм  
мне незачем  
тебя  
будить и беспокоить.

Ну и рифма. *Легла – телеграмм*. Что-то поднимается каждый раз, как пена в закипающей кастрюле. И это называется дружбой. Бесконечные препирательства. Пожарский что-то там лепечет о Маяковском (потеряв, между прочим, всякую осторожность!), это оттого, что он сопляк, жалкий стихоплёт, смешно думать, что Ира может увлечься этим недорослем. А когда Иванов возражает, то вовсе не потому, что он в таком восторге от «лучшего-талантливейшего», просто он завидует Марику. Смешно представить себе, что этот тупой ортодокс, этот увечный воин может завоевать Иру.

Вот он снимает пенсне, достаёт платок, дышит на стёклышки. Нацепляет на нос, этаким денди. Марик старается не глядеть на Иванова, он почти не в состоянии совладать с приливом ненависти. Может быть, лет через двадцать Марик Пожарский поймёт... но будут ли они жить через двадцать лет? Что поймёт? Что ненависть есть не что иное, как надевшее маску вожделиние. Что на самом деле оно рвётся к женщине, но, отброшенное щитом её равнодушия, переключается на другого; что гений пола не устремляется на добычу, но кружит над ней, как ослепший коршун. Разумеется, никто из них об этом не догадывается.

А вот пятьдесят лет тому назад они бы стрелялись. Где-нибудь на задворках, на заднем дворе, за полуразрушенной университетской церковью, а ещё лучше в безлюдном парке, где поют птицы на рассвете. Теперь сходитесь. Ира машет платком. Они идут навстречу друг другу, гремят выстрелы. Дым рассеивается, оба лежат неподвижно. И она стоит, дважды овдовевшая, между ними. И так ей и надо.

«А вот это, – говорит она, – разве это плохо?»

Я знаю,  
каждый  
за женщину платит.  
Ничего,  
если пока  
тебя  
вместо шика  
парижских платьев  
одену  
в дым табака».

Она не смотрит ни на того, ни на другого, её глаза обводят двор, чахлые кусты и ограду, удивительно нежен её подбородок, спокойно дышит её грудь. Может, Ире и нравится Маяковский, – Марик Пожарский вынужден признать, что поэт революции,

пожалуй, не так уж безнадежен, есть неплохие строчки, – но, конечно, куда больше ей нравится то, что они наскакивают друг на друга. Ей это не надоедает!

Сколько коварства, женского вероломства, сколько тайного издевательства в её спокойствии, в её позе, в этой наигранной непринуждённости, ведь на самом деле она ждёт, ждёт с жадным любопытством, когда, наконец, Иванов швырнёт Марику на лопатки. И Марику Пожарскому становится ясной вся пошлая суетность ее поведения, все это притворство, вообще вся их бабья суть.

И в то же время ему становится легче, он понимает, что игра ведется из-за них обоих, из-за него. Значит, он ей не совсем безразличен. Увы, это так: их троица держится на самом обыкновенном соперничестве. Через двадцать лет Марик мог бы сообразить, что у соперничества есть изнанка, хрупкая взаимная привязанность мужчин. И вот они топчутся во дворе перед дверью с вывеской факультета и не догадываются о том, как всё это шатко, хрупко, не хотят замечать трещину на льдине, где они стоят втроем, одни-одинёшеньки, и льдину несёт в океан.

«Дети мои, мы опаздываем», – говорит Ира.

Пора на лекцию в Новое здание.

За оградой по тротуару спешат горожане, равнодушные, мимолётные, рассеянно-раздражённые лица, кого в этой толпе интересуют стихи? У людей другие заботы. Вдалеке за широкой площадью сад, и зубчатая стена, и незаметный отсюда, безустали шагающий часовой. Люди не смотрят на стены и башни, их это не касается. Люди бегут навстречу друг другу, вправо к Библиотеке Ленина и налево к Охотному ряду и площади Дзержинского, к мраморно-гранитной крепости и новому, только что воздвигутому многооконному зданию с коридорами, камерами, подвалами, с кабинетами следователей, с прогулочными дворами на крышах, об этом никто не знает, никто ничего знает, а кто знает, помалкивает, и всё рядом, от университета каких-нибудь пятнадцать минут ходьбы, дико, странно подумать, как это может сосуществовать, как может уживаться одно с другим.

## 37. Интермедия в костюмах эпохи:

### Тристан

В истории рыцаря Тристана, племянника короля Марка, истории сватовства короля к белокурой Изольде и тайной любви Тристана и Изольды был загадочный эпизод, которому не даётся никакого объяснения; о нём хранят молчание и Беруль, и Томá, и Готфрид из Страсбурга. Тристан, чьё имя, предрекавшее горестную судьбу, было дано ему, по одним преданиям, матерью, по другим – влюблённой в него королевой Бланшфлёр, получил наказ дяди беречь и охранять Изольду в долгом морском пути из Ирландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей серебряный сосуд с волшебным напитком. Может быть, тебе и не надо знать, сказала она Изольде, что произойдёт после того, как вассалы и слуги приведут тебя к мужу в опочивальню, девушкам не полагается слушать о таких вещах, одно лишь прошу тебя исполнить. Кто такой благородный Марк, знают все, но каков он из себя, мне неизвестно, знаю только, что он стар, и не уверена, что он красив. Итак, попроси разрешения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и выпей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля, разукрашенного флагами, под червлёными парусами, с искусно вырезанной из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёт мимо Дальних островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов, бури трепали путешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на мачтах, под палящим солнцем судно поч-

ти не двигалось. Кончились запасы пресной воды, и бедная невеста возжаждала так сильно, что захотела испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении она сидела на ковре. Матушка велела мне отвезти этот напиток в ночь бракосочетания, сказала Изольда, но я не силах больше переносить жажду. А что это за питье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила Изольда, но думаю, что не отраву; не хотите ли пригубить. И оба с наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, время исчезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, взглянули друг на друга, и с тех пор Изольда не могла больше думать ни о ком, кроме как о Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И когда в каюту вошла Брангена, приближённая девушка принцессы Изольды, она увидела по их глазам, что случилось непоправимое.

В разных версиях легенды рассказывается о том, как король Марк со свитой встретил Изольду, благодарил племянника и пожаловал ему звание шамбеллана, то есть спальника; как устроен был свадебный пир и слуги готовили для молодых роскошную опочивальню. С гневом и горечью думал Тристан о том, что произойдёт; и новобрачная тайком утирала слёзы. Но успела шепнуть Тристану, что нашла выход. Когда король, возбуждённый и умощнённый, возлёт, ожидая Изольду, спальник погасил свечи в опочивальне. Зачем ты это сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал племянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, нужно тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном удалился, а в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк лишился девственности Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служанка неслышно выскользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с ложем короля улеглась Изольда. Хитрость удалась; наутро король призвал к себе Тристана и сказал: я назначаю тебя моим наследником в Корнуэльсе в благодарность за то, что ты сберег для меня Изольду. А так как он был стар, то в последующие две недели не трогал королеву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на корабле, распалил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И настала глубокая ночь. Случилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. Он вошёл в опочивальню и увидел, что там никого нет. Призвал служанку, но Брангена молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец, она созналась. Так значит, это была ты, сказал король, потрясённый услышанным; знаешь ли ты, какое наказание тебя ожидает. Но я пощажу тебя, продолжал он, если ты откроешь мне, где скрывается моя жена Изольда.

В кромешной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк мерцал впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на столе пылает свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и увидел спящих. Оба лежали нагие, и между ними меч.

И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это значит.

Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность короля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла вождение к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление минутной вспышке огня. Кто знает? И не воображает ли себя девушка, которая учится на романо-германском отделении, наперекор всему принцессой Изольдой?

## 38. Иов на зарплате

Диспут о поэзии выдохся; через узкие воротца на тротуар. Снаружи перед университетской оградой, как всегда, сидит на тротуаре, отбывает дежурство пепельный человек в рубище. Седая щетина, вытертая на макушке голова, рядом собачий нос на вытянутых передних лапах.

Марик Пожарский приблизился к сидельцу. Нищий произнес свою формулу. Пес приоткрыл один глаз.

Подождав, нищий спросил:

«Тебе чего?»

Вместо ответа Марик протянул руку, сложил ладонь лодочкой, скорчил скорбную мину.

«Подайте Христа ради!»

«Чего?» – переспросил нищий, обратив к нему корявый лик.

«Больному-убогому, – пел Марик, – нищему студенту... Подайте на пропитание».

Собиратель подаяний воззрился на него, как, должно быть, взирал на самонадеянного юнца Елиуя праведник, познавший смысл страдания.

«Сучий потрох», – проскрипел он.

Мимо прохожие бегут друг другу навстречу, стучат подковки кирзовых сапог, шаркают опорки, постукивают каблучки женщин.

«Это же надо... – сказал нищий. – А ну вали отсюда».

Он скосил глаза на пса:

«Гони его на-хер».

Зверь повёл ухом, не понимал, в чём дело, моргал, ждал подачки.

«Гони! – скомандовал хозяин. – Кому сказал...»

«Вот видите, – заметил Марик. – Он понимает».

«Не он, а она, – поправил нищий, – чего она понимает?»

«А то, что я, может, еще бедней, чем вы».

«Ты-то?»

Вместо ответа Марик с торжеством вывернул карманы коротких брючек-дудочек. Стоя фертотом, держал концы карманов в обоих руках. Что он хотел этим сказать? Нищий молча, скучно глядел на него. Профессионал презрительно оглядывал дилетанта.

Идея просить у просящего – да ведь это всё равно что обворовать вора, всё равно что потребовать за свидание плату от публичной женщины. Другими словами, это подрывная идея.

К тому же нищий на работе. Надо было быть полным идиотом, ослом, лопухом, чтобы не знать, что побиралец здесь, у ограды университета – на работе. Напротив Кремль. В двух шагах американское посольство. Присматриваем за прохожими, отмечаем подозрительных, особенно всех, кто собирается кучкой.

Надо быть таким лопухом, как Марик...

«Чего ты мне карманы-то показываешь! Чего показываешь-та! Видали мы таких! Студент прохладной жизни... У кого просишь? У кого вымогаешь? А ну иди отседа, – гремел нищий, – работать надо, а не попрошайничать!..»

Он стал подниматься с места, встал, подтягивая штаны, и оказался детинной огромного роста; собака, вскочив на ноги, залилась лаем; в эту минуту, ни с того ни с сего, с другого берега Манежной площади сквозь шум и шорох машин донёсся торжественно-гнусавый звон кремлевских курантов.

Юра Иванов, хромя, поспешно приблизился.

«Держи», – нищему, сунув ему монету.

Марику:

«Хватит кривляться. Пошли».

Куранты: «Динь, динь-дилинь. Бом!»

Вдогонку неслось:

«Суки поганые, много вас тут развелось!»

## 39. Свидание

И вот, это было недели две спустя, происходит нечто маловероятное. Нужно признать, что правдоподобие не является законом жизни. Мы живём в неправдоподобное время. Особа средних лет, явно посторонняя и, хуже того, в которой что-то неуловимо выдавало иностранку, вышла из деканата. Миновав холл с расписанием лекций и стенной газетой, направилась к выходу. Она шагала уверенно, не глядя по сторонам, словно не впервые находилась здесь. Дочь, ростом выше матери, спешила за ней. Двумя маршами ниже находился философский факультет, ещё этаж – и они вышли во двор. Было уже совсем тепло. Щурясь от солнца, гостя мельком оглядела парадный фасад, арку, двойную лестницу, колонны и двускатный верх со знамёнами и гербом. С двух сторон по углам выходившего покоем Старого здания стояли почерневшие статуи.

Вышли на тротуар из узких ворот, дама покопалась в сумочке, склонившись, бросила серебряную монетку собирателю подаяний. Подальше сидел еще один, она подала и ему. Широкая и пустынная, мощёная брусчаткой площадь, посередине мемориальный камень, редкие автомобили, а по ту сторону площади, за оградой и зелёную крепостная стена, зубцы, башни со звёздами, с железными флажками, – итак, вот она, эта новая Византия, город чудес и тайн, и где-то там в жёлтом дворце за стеной прячется деспот, которому дочь поклоняется, словно живому богу.

Подождали, пока трамвай, два старых вагона, верезжа колёсами, поворачивал из узкой улицы вправо. Теперь, когда план, казавшийся нереальным, почти безумным, по-видимому, близок к осуществлению, гостя, прибывшая издалека, охвачена сомнениями. Зудящее любопытство, какая-то болезненная потребность увидеть воочию этого человека, – чем они могут быть оправданы в его глазах, согласится ли он вообще с ней разговаривать? Но поздно отступать, они перешли улицу. Ещё один памятник кому-то перед аудиторным корпусом. Вошли внутрь. Мамаша и дочка поднимаются по широкой парадной лестнице. Аудитория номер 66, они нашли ее без труда, десять минут до конца занятий.

Напрасное ожидание. В деканате дали неправильные сведения. По-видимому, намеренно. Дали понять, что ей здесь делать нечего. Но откуда они знают, с какой целью иностранка хочет повидать Юрия Иванова? Или все-таки знают, предупреждены по тайным каналам? Прозвенел звонок, молодежь выходит из высоких дверей, почти сплошь девицы, человека, которого им описали, нет. Толпа разошлась. Аннелизе графиня фон Ирш цу Зольдау, рыхловатая женщина за пятьдесят, с аккуратно уложенными короткими волосами серо-желтоватого цвета, с немного скуластым лицом и крупными выступающими зубами – фамильная черта, – в длинной вязаной кофте с вырезом, заколотым брошью, с перстнем-печаткой на безымянном пальце, в старушечьей юбке и неказистых туфлях, смотрит в тупой задумчивости вниз на лестницу, на спускающихся студентов. Что ж, тем лучше.

Конечно, *надо* было приехать, выполнить долг, который она сама себе навязала. Что теперь? Продолжать поиски, предпринимать новые усилия – *im Gottes willen*,<sup>1</sup> зачем, какой смысл?.. Будем считать, что наше упрямство вознаграждено. В сущности, можно лишь радоваться, что встреча не состоялась. И в который раз она спрашивает себя, для чего, собственно, ей всё это понадобилось. Но где же дочь?

Стремительно повернувшись, Аннелизе фон Ирш видит, как из опустевшей аудитории вышли двое. Вышла Сузанна Антония и с нею бледный парень в пенсне, с палкой и студенческим портфелем, с веснушками, медноволосый, – точь в точь, как у Отто, подумала она.

---

<sup>1</sup> Бога ради (нем.).

Матери, по-немецки:

«Мама, это Юрий Иванов».

Он стоит перед женщиной в длинной кофте и юбке почти до щиколоток.

#### 40. Девушка новой генерации

Соня Вицорек – следовало бы сказать: фрейлейн Вицорек, но годы оккупации скомпрометировали это слово, – Соня Вицорек была непростая, даже в некотором смысле загадочная персона, из тех, о ком говорят: «со связями». Об этих связях не принято было распространяться, да и не так уж это интересно, достаточно будет, если мы скажем, что благодаря Соне удалось организовать поездку и встречу. Другой вопрос, было ли это в самом деле удачей. Что обещала, что могла принести такая встреча?

. Для обитателей дома на Нижнекисловском (переведём назад стрелки скорбной эпохи) пакт о дружбе с Германией был подобен грому с ясного неба. Может быть, оттого, что среди эмигрантов не было достаточно проникательных, а главное, циничных людей, они не верили своим глазам: фотография с Риббентропом и Молотовым на первой странице московских газет. Вождь международного пролетариата в Кремле произнёс тост за здоровье гнусного германского фюрера. С речью выступил нарком иностранных дел: некоторые близорукие люди, сказал он, увлеклись упрощённой антифашистской агитацией. В квартирах эмигрантов начались обыски, пошли аресты, в одну из этих ночей исчез Отто Вицорек. Соня осталась с подругой отца, теперь эта женщина занялась хлопотами о возвращении в рейх. Ловили новые слухи, ждали выселения. Прошло несколько месяцев, и вдруг он вернулся, единственный из всех соседей. О том, что происходило во Внутренней тюрьме, отец Сони не рассказывал и о самой этой тюрьме никогда не упоминал. Внешне он несколько изменился, лишился передних зубов, отчасти даже лишился рассудка. Вицорек выздоровел от невзгод, но не от убеждений. Последующие события восстановили его энтузиазм и веру в Вождя, который, как теперь стало ясно, вовремя вмешался, чтобы пресечь беззаконие. К этому времени невенчанная жена, больше не разделявшая этой веры, сменив её на поклонение Шикльгруберу, сумела уехать, её судьба неизвестна и неинтересна. Вицорек остался с дочерью. Вскоре началась война, и всё окончательно стало на свои места. Отто был членом каких-то комитетов, редактировал брошюры, подписывал воззвания. Соня отправилась в эвакуацию вместе со школой имени Карла Либкнехта.

Три года жизни на Урале превратили её в рослую, светлоглазую, длиннозубую и длинноногую, уверенную в себе девицу, хоть и не получившую в наследство от отца его былую красоту, но всё же похожую на него, а ещё больше, может быть, на старого звездочёта, чей портрет не сохранило потомство. Наступила весна сорок пятого года, достопамятного, занесённого илом, забытого и незабвенного, – так застревает в памяти мелодия, а текст давно забыт. В июне, в последних числах, Сузанна Антония прибыла во «дворец радио» в Шарлоттенбурге, бывшую казарму СС, где теперь было определено рабочее место Отто Вицорека.

Летели с пересадкой в Минске. Здесь впервые она увидела развалины. Увидела остатки укреплений по обе стороны Одера, воронки от снарядов, но дальше потянулись аккуратные поля, перелески, озёра, чистые, ухоженные городки, прямые автостреды; казалось, войны здесь никогда не бывало. Страна была похожа на чисто прибранную комнату у прилежной хозяйки. Низкие облака заволокли иллюминатор, самолёт, гудя, стоял в густом молоке. Началась болтанка; последние клочья тумана неслись мимо. Внизу проплывало что-то ужасное, развороченные танки, обугленные леса, чёрные дымящиеся поля с торчащими из земли обгорелыми стволами. Дорога,

по которой двигалось что-то в облаках чёрного праха. Появился город, но что это был за город: пустые, без крыш, коробки домов до самого горизонта, обломки церквей. Горы щебня и кирпичей росли навстречу, самолёт снижался. Кое-где расчищенные улицы забиты колоннами крытых брезентом грузовиков, коробочками-джипами, тележками, крошечные люди толкают перед собой детские коляски с кладью. Самолёт сел в Темпельгофе. Аэродром окружали остатки некогда импозантных зданий, выгоревших до тла. Отец волновался, она осталась безучастной, это была чужая страна, чужие люди, так вам и надо, думала Соня.

Вечером приехал автобус, кружили по мёртвому городу, проехать можно было только по главным улицам. Непонятно было, как, когда всё это можно разгрести. Да и надо ли. Уж лучше построить новый город где-нибудь в другом месте. На Франкфуртской аллее кое-где уцелевшие дома. Им отвели квартиру в бывшей гостинице для офицеров. Всё ей казалось удивительным Соне Вицорек. Немецкие надписи, люди на улицах говорят по-немецки. Берлинский «платт», который не сразу поймёшь. И, само собой, везде красноармейцы, в обмотках, в кургузых шинелях. Тёмные загорелые лица, белозубая улыбка. «Эй, фройлин!» Она отвечает по-русски.

После тюрьмы Вицорек заикался; до поздней ночи тюкал на машинке; Соня должна была читать напечатанное перед микрофоном, и первое время рядом с ней сидел русский майор. Несколько времени спустя она уже сама сочиняла тексты радиопередач, видимо, преуспела в этом, была откомандирована в Москву, окончила международную школу молодых кадров в Вешняках, заведение за высоким забором; Кони Вольф, товарищ детства, был братом Маркуса Вольфа, которого все по старой памяти звали Мишей; и этот Миша стал теперь большим человеком, чтобы не говорить о том, кем именно он стал; можно было запросто к нему обратиться, всё прекрасно устроилось, всё, что нас здесь уже не может интересовать.

#### 41. Беседа за круглым столом

«Он не помнит, я же говорила тебе».

«Спроси, где он потерял ногу».

«Мамочка...»

«Можно не переводить. Как-никак я филолог».

«Он говорит, что может обойтись без...»

«Только помедленней. Bitte sprechen Sie langsam».

«Поговори с ним сама. Скажи, что мне очень хотелось его повидать».

Иванов пробурчал что-то невразумительное.

«Он говорит, что счастлив с тобой познакомиться».

Аннелизе фон Ирш разгладила салфетку, по-видимому, не знала, с чего начать.

Вертела перстень. На перстне вырезан зубр.

«Вы изучаете немецкую литературу?»

«Изучаю», – мрачно сказал Иванов.

Соня, по-студенчески на «ты»:

«Почему ничего не ешь?»

«Боюсь испортить желудок».

«Он говорит, что не привык к такой роскошной еде».

Неслышно приблизился официант, подлил в чашки душистый кофе.

«Может быть, вы привыкли пить по утрам чай?» – осведомилась Аннелизе.

«Я? – сказал Иванов. – Ich...»

Он забыл слова. Да и пропало желание разговаривать. Он оглядел почти пустой зал, светлые окна с гардинами, пальмы в бочках, крахмальные скатерти, хрусталь. Нашего брата сюда не пускают.

Сейчас начнётся, думал он. Дружба народов, то да сё.

Аннелизе сложила салфетку вдвое, вчетверо.

«Не знаю, как вам объяснить... Мне хотелось вас увидеть... я вас разыскивала. То есть разыскивала кого-нибудь, кто... Мы оба... нас обоих... вы верите в предопределение? По-моему, он не понимает, переведи ему».

«Наш предок был знаменитый астроном. Переписывался с Тихо Браге. Мама считает, что спаслась благодаря звёздам».

«Какие там звёзды. Был шторм, снегопад».

«Да, но я не в том смысле...»

«Какой тут может быть смысл», – возразил он с досадой.

Аннелизе продолжала:

«Мне кажется, мы могли бы найти общий язык. То, что мы оба остались в живых... Как, вы уже уходите?»

Иванов поднимался, опираясь на палку.

«Вот что... – проговорил он, сдерживая злость, не глядя на Сою. – Тебе такая вещь, как русский мат, известна?»

«Мат?»

«Да, обыкновенный русский мат».

«Немножко».

«Ну так вот, скажи твоей маме... – Он вздохнул. – Ну, в общем, скажи, что я благодарю за вкусный завтрак. Das Frühstück schmeckt gut».

«Ему надо идти на лекции».

Аннелизе фон Ирш опустила голову, через минуту Юра Иванов встретился с её взглядом.

«Мама хотела спросить, где тебя ранило».

«В море», – сказал Иванов.

«То есть... на Остзее? <sup>1</sup>»

«Не помню. А почему это её интересует?»

«Я же тебе объяснила: моя мама в конце войны...»

«Знаю. Тот самый транспорт?»

«Ну да... пассажирский корабль».

Иванов пожал плечами.

«А кто мог знать?» – спросил он.

«Что знать?»

«Кто мог об этом знать – что пассажирский?»

«Он говорит, что они не знали, что корабль вёз пассажиров. – Иванову: – Мама почему-то считает... Может быть, ты все-таки сядешь».

«Хорошо, сяду, – сказал Иванов. – Мы получили приказ. В этом районе ожидалось появление немецких транспортов».

«Он говорит, что...»

«Вы что, позвали меня, чтобы допрашивать? Sie wollen...»

«Да, – вдруг сказала Аннелизе. – Я хотела бы с вами поговорить. Я, – сказала она упрямо и при каждом слове кивая, – должна – с вами – поговорить».

«Мамочка...»

«Я долго искала этой возможности. Спроси у него, достаточно ли хорошо он меня понимает или надо переводить».

---

<sup>1</sup> Немецкое наименование Балтийского моря.

«Моя мама говорит, что рада, что смогла тебя разыскать».

«Спасибо. Весьма польщён».

«Должна сразу же сказать: я вовсе не собираюсь вас... Наоборот!»

«Мама, подожди минутку. Юрий... Пожалуйста, не думай, что мы тебя в чём-нибудь упрекаем. Советский народ вёл войну с фашизмом. Мой отец старый коммунист...»

«Вот как».

«Да. Он был соратником Тельмана».

«Поздравляю; ну и что?»

«Как что? Мы на твоей стороне, а не на...».

«Кто это – мы?»

«Я и мама».

«Мама тоже? Не думаю, – сказал Иванов. – Я знаю, что она хочет сказать. Что там были женщины, старики, дети...»

«Там были, между прочим, и солдаты».

«В общем, беженцы. Видимость была плохая, сначала думали, что это военный транспорт. Потом оказалось... в общем-то да, корабль был освещён. Мы подошли совсем близко. Огромный пароход, как десятиэтажный дом, не меньше. Конечно, с конвоем. Но мы его вначале не увидели».

«Пойми, моя мама вовсе не собирается... И в конце концов, ты же был там не один».

«Я первым увидел корабль».

«Но ты же не виноват, что...»

«Да, да. Война, враг есть враг, всё ясно. И что творили немцы в России, можешь мне не объяснять. И, между прочим, то, что одно преступление нельзя оправдывать другим преступлением, это для меня тоже ясно».

«Что он говорит?» – спросила Аннелизе фон Ирш.

«Он рассказывает... как все это было».

«Догнали, шли параллельно. В каких-нибудь шести-семи кабельтовых... И то, что палубы переполнены народом, тоже видели, нельзя было не увидеть. Кто эти люди? Ясное дело – немцы, враги. Ну, и...».

«Ужасно, конечно, – сказала Соня Вицорек. – Но это можно понять».

«Может, и можно понять, не знаю. Победителей не судят, так ведь? – сказал Иванов. – А теперь представь себе: у нас боевое задание, выследить и уничтожить. А мы пожалели их и ушли. Что это значит? Невыполнение приказа, капитана под трибунал и расстрел. И всех офицеров под трибунал».

«Что он говорит? Переведи».

«Сейчас, мамочка, сейчас...»

«Брось, – зло сказал Иванов и махнул рукой, – нечего переводить».

«Не моё дело вас осуждать, – сказала Аннелизе. – Но если бы вы знали, что там происходило... Все проходы, лестницы, всё забито, люди топчут детей, стариков... Меня втащили в лодку, ночь, снег, огромные волны, кругом крики тонущих, шлюпка переполнена, если бы вы только знали...»

«Знаю без вас», – сказал он.

## 42. Не вполне патриотические темы За что и пришлось поплатиться

Профессор Данцигер любил поговорить. Не на подмостках большой Коммунистической аудитории, где, сидя в шубе и фетровых ботах, прихлёбывая холодный чай, он скучно вещал в пространство, всегда начинал с одной и той же фразы: «На прошлой лекции мы рассмотрели вопрос о...» и заканчивал: «Но к рассмотрению этого вопроса мы перейдём в следующий раз», – а здесь, на старом факультете, знакомом с далёких старорежимных времён, в комнате с грифельной доской, с облупленными столами, с подоконниками в глубоких проёмах, с видом на Манеж, перед избранным кружком учеников на знаменитом семинаре Данцигера.

Представьте себе это время, говорил Сергей Иванович Данцигер, и первые, вступительные фразы его рассказа напоминали речитатив перед оперной арией: представьте себе это короткое, неповторимое время. Разве только с Афинами пятого века можно сравнить скопление гениев на пятачке нескольких германских княжеств в первые десятилетия девятнадцатого века. Гёте выпускает первую часть «Фауста», «Избирательное сродство» и «Западно-восточный диван». Ещё живы Гердер и Шиллер. Гёльдерлину остаётся несколько светлых лет, он работает над «Эмпедоклом» и печатает последние стихотворения. Новалис дописывает первую часть «Генриха фон Офтердингена», Клейст создаёт «Пентезилею» и «Принца Гомбургского», выходят в свет «Эликсир дьявола», «Крошка Цахес» и «Серапионовы братья» Гофмана. Юный Гейне делает первые шаги в литературе... Подумайте только. Все живут одновременно! И это ещё не всё, в музыке – это Бетховен. Это «Волшебный стрелок» Вебера и первые песни Шуберта. Это юная пора романтизма, небесно-голубого, как Голубой цветок Новалиса, и ещё не ставшего багровым...

Профессор Данцигер говорил о Гейдельберге, Иене и Берлине, он оживал, молодел, розовел, не слышал звонка на перерыв, моргал, как филин, переводя от одного слушателя к другому загадочно-восторженный взгляд, и было ясно, что он видит не сидящих перед ним девиц, не Иру и не Марика Пожарского, а тех, давно ушедших, проживших короткую жизнь, писавших друг другу пространные письма на языке, который мы хоть и понимаем, но который кажется нам невозможным, как невозможен больше этот восторг и пафос. Но профессору Данцигеру этот язык не казался смешным. Он и сам чуть ли не пел голосами этих сирен. Обратите внимание, говорил профессор Данцигер, что история, реальная история меньше всего интересовала этих людей, они хотели жить во всех временах, другими словами, в сверхистории: «Генрих фон Офтердинген» начинается с того, что часы бьют на стене в комнате, где лежит без сна юный Офтердинген, а между тем действие происходит в Средние века, когда никаких механических часов не существовало, – и это отнюдь не потому, что автор об этом не знает. Профессор Данцигер говорил о женщинах невозвратимой поры, без которых не было бы и этой поры, вокруг каждой вращалась вся эта компания поэтов и говорунов, словно хор планет вокруг солнца, он рассказывал о Доротее, скандально прославленной своим возлюбленным Фридрихом Шлегелем в «Люцинде» (кстати, кто читал этот роман – поднимите руку) и о своенравной Беттине, сестре Клеменса Brentано, которая однажды сцепилась в доме Гёте с подругой тайного советника, толстой Кристианой, о Каролине Шлегель, которая писала Августу: «Друг мой, ничто по-настоящему не существует, кроме творений искусства», и о другой Каролине, рослой и мучительно-робкой, неприступной и страстной, безответно влюблённой в профессора Крейцера и мечтавшей, переодевшись мужчиной, последовать за ним в Россию, – о бедной, непонятой Каролине фон Гюндероде, истерзанной противоречиями

своей души, противоречиями эпохи, так что в конце концов она не увидела другого решения, как всадить себе ниже левой груди кинжал с чьим-то вырезанным на костяной ручке именем. Вы догадываетесь, чьё это было имя... А знаете ли вы, что начертано на её надгробном камне? О Земля, моя мать, и ты, Эфир, мой отец, и ты, мой брат, горный ручей, прощайте, я ухожу в другой мир.

Послушайте, друзья мои, говорил профессор Данцигер, вперяя взгляд то в одного, то в другого, послушайте, как описывает Беттина фон Арним свою подругу Каролину. По её словам, у Каро были тёмные волосы и серые глаза, она явилась на обед к епископу вместе с другими дамами приюта в чёрном орденском платье с белым воротничком и шлейфом и была похожа на призрачную красавицу баллад.

Он рассказывал о девочке Софи фон Кюн, в которую влюбился двадцатидвухлетний Фридрих Леопольд фон Гарденберг, тот, кто просил Августа Шлегеля опубликовать «Цветочную пыльцу» под псевдонимом Новалис. Но вправе ли мы поместить эту Зёфхен в один ряд с девушками и женщинами романтизма? – спросил профессор Данцигер и развёл руками. Мы знаем о ней слишком мало, вернее, мы знаем ту Софи, которую сотворил Новалис из двенадцатилетней, вероятно, ничем не замечательной барышни-подростка, круглолицей, толстенькой, с туповатым носиком, очень доброй, посылавшей ему записки с ужасными орфографическими ошибками. Нужно понять, воскликнул он, что означала встреча с Софи фон Кюн для человека, однажды написавшего: «Поцелуй – начало философии!» Но мы не знаем, чем стала бы эта Софи, если бы дожила хотя бы до совершеннолетия, что осталось бы от философской и мистической, истинно романтической любви, подарившей нам и «Гимны ночи», и «Офтердингена» (вы, конечно, прочли этот роман?), если бы не кончина невесты, которой едва исполнилось пятнадцать лет. Отчего угасла Софи фон Кюн? – профессор Данцигер горестно покачал головой, развёл руками. Гнойник в брюшной полости, три операции. Палочка Коха, ещё неизвестный, коварный возбудитель туберкулеза, тот, который спустя немного унёс и Новалиса.

Дребезжит звонок в коридоре. Сергей Иванович, кудрявый, ароматный, в чёрной шапочке, в бороде клинышком, в седых усах над могучим носом, чрезвычайно довольный собой, восседает на председательском стуле. Минута тишины, перламутровое небо осени за квадратными, врезанными в толщу стены окнами. Сейчас задвигаются стулья, сейчас девицы поднимутся, очнувшись от гипноза, оправляя платья.

### 43. Танго. Марик Пожарский знакомится с реальной действительностью

Для некоторых обыденных вещей трудно подобрать название. Холл? В русском языке середины века этого слова ещё не было. Вестибюль тоже не годится, каждый филолог знает, что по смыслу корня это должно означать переднюю, где раздеваются. В клубе никто не раздевался: холодно. Кучка девиц болтала в сторонке. Преподаватель опаздывал. Явился единственный молодой человек. Полчаса прошло; Марик Пожарский негодовал на себя за то, что затесался в бабью компанию; топтался в одиночестве; никто с ним не заговаривал, и сам он не проявлял желания участвовать в разговоре. Наконец, вошёл, тяжело переставляя ноги между двумя палками, с замученным видом, ибо он вёл занятия во многих местах, руководитель, следом, в шубе, некогда котиковой, с папкой под мышкой плелась аккомпаниаторша. Все гурьбой поднялись по ступеням парадной лестницы мимо мраморного бюста со стихами в честь восшествия на престол государыни императрицы Елисаветы Петровны. В пустом зале блеснул паркет; стали в кружок.

Полы шубы свисали с круглого винтового стула, пожилая дама прошлась по клавишам, разминая пальцы. Нога из-под ветхой юбки коснулась педали. «И-и... начали!»

Пары неуклюже поворачивались. Дребезжал рояль. Преподаватель дирижировал, сидя в кресле. На предыдущих занятиях мы познакомились с бальными танцами. Теперь – танго. *Мне зима всё кажется маем.* (Раз-два- три). *И-и в снегу я вижу цветы!*

Танго (только, ради Бога, не говорите: тангó), танго, сказал преподаватель, это танец одновременно и церемонный, и сугубо интимный. Танго включает в себе мир человеческих отношений. Танго – южноамериканский танец и танцуется в очень строгом и остром ритме. Тáм! Татата-тáм. Та, т-тá! Шаг – и коротенькая пробежка. Длинный – и три коротких. И так далее, и так далее, и-и пробежка, и назад, и вперёд, и наклоняемся, и выпрямляемся! Смотреть на партнёршу, держать её, как держат вазу... Вокруг себя! Ба-альшой шаг. Три коротеньких. Стоп. Но так же не годится. Начинаем сначала – Розалия Юльевна, прошу. И-и!

*Мне весна всё кажется маем... Отчего, как в мае, сердце замирает? Знаю я, и знаешь ты.*

Держите даму как полагается!

Всё напрасно. Танец – диалог душ, любовная дуэль, в танце мужчина демонстрирует свою власть над женщиной, женщина незаметно властвует над мужчиной. А где тут женщины, где тут мужчины? Девы топчутся, не попадают в такт. Преподаватель в кресле хлопает в ладоши. Скучная, как старая заводная кукла, Розалия Юльевна без конца повторяет одно и то же. *Мне весна всё кажется маем.* Какие слова! Серенада Солнечной долины. Упоительный фильм. И какой откровенный. Например, там есть одно место, когда она сидит в бочке с водой, ведь все знают, что на ней ничего нет. Впрочем, это, кажется, другой фильм. Девушка моей мечты. Эх, живут же люди.

Учитель хлопает в ладоши, перерыв. Бабуся добыла из недр шубы портсигар с махоркой, сладко закуривает.

В перерыве Марик Пожарский думает о том, что он никогда не научится танцевать, а ведь танцы – это самый удобный способ знакомиться с девушками. Странно, что он так неуклюж и непонятлив, разве у него нет чувства ритма? Все опять построились в кружок, преподаватель снова показывает руками, как и что. Поразительно в этих танцах то, что можно так, запросто обнять и, обнявшись, двигаться и кружиться, и при этом делать вид, что тебя не волнует магия прикосновений. Марик стоит, ожидая команды, его партнёрша, довольно толстая девушка с неподвижной физиономией, как будто окоченела в самообороне: он старается держать её крепче, как требует преподаватель, – главное, не уронить даму! (да, попробуй-ка уронить эту колоду), – а она упирается ему в грудь, словно её хотят изнасиловать. Приготовились; и-и... И вдруг рядом с ними девица небольшого роста, по плечо Марику, остроглазая и остроноса, не поймёшь, красивая или уродливая. Бесцеремонно отодвинула его партнёршу, пристроила руку Марика себе на талию. Её рука у него на плече. И раз, два-два, три! Раз, два-два... И поехали. Совсем другое дело. И в снегу я вижу цветы!

«Ноги мне не отдави...» – пробормотала она. Зачем ей школа танцев, она, оказывается, всё прекрасно умеет.

Обоим жарко. Её пальто валяется на стульях вдоль стены, не пальто, а пальтецо. Следующее занятие, м-м... – говорит преподаватель и перелистывает толстую растрёпанную записную книжку. Листки падают на пол. Он придвигает их к себе палкой. Девочки прыгают по ступенькам. Выглянули на улицу; сумрачно, хотя время всего лишь начало четвёртого, моросит холодный, безнадёжный дождь.

С какого она факультета?

«Чего?»

У неё острый чёрный взгляд, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо тебя, худая, притягивающе-некрасивая, какой там факультет, она вовсе не из университета.

«Бр-р. Что будем делать?»

«Подождём».

«Он и через час не перестанет. Тебя как звать?.. А меня Клава. Проводишь меня, или как?»

Разумеется, после танцев кавалер обязан проводить даму.

«Неохота, что ль?» Она снова смотрит на него или мимо него.

«Нет, почему», – возразил Марик. Оказывается, эта Клава живёт где-то за Абельмановской заставой, у чёрта на рогах. Спустя час, продрогшие, они добегают до входа в женское общежитие, внутри на голых стенах бумажки, записки, выставка объявлений, посторонним вход строго воспрещается, не курить, окурки на пол не бросать, после десяти вход закрыт. Сторож-инвалид в валенках восседает за столиком, здорово, дядя Фома, – и, не мешкая, не оглядываясь, вверх по лестнице.

Комната вроде больничной палаты, в широком окне белёсый свет угасающего ноябрьского дня, койки с тумбочками, сумрачно, тепло, на стене гитара с голубой лентой, полукругом прикнопленные открытки, фотографии, плакаты вместо картин, хитро-весёлый солдат в пилотке набекрень, с вещмешком и автоматом, сворачивает самокрутку, за спиной дорожный столб: «На Берлин». На другом плакате родные дали, трактора: все, как один, подпишемся на заём. У окна за столом три девы и пожилая тётка играли в подкидного.

Марик стоял на пороге, чувствуя себя в высшей степени не в своей тарелке. Клава словно забыла о нём, сбросив на ходу пальтишко, уселась на кровать, платье между коленками.

«Чайку бы...»

«Сама и ставь».

«Ты чего, тётъ Насть, со смены? Поесть чего-нибудь есть?»

«Ой, девоньки. Уж если везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт».

«С козырей пойти, что ли. С короля... А это кто ж будет?»

«Мой друг, ухажёр».

«Где эт-ты такого красивого подцепила».

«Красивого, да не про вас. – Подмигнув: – А, Маркуша?»

«Опять винни козыри. Ну что это такое».

«Коли везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт. Э-эх. – Потянувшись, Клаве: – Чего, уходить нам, что ли?»

«А мы занавеску повесим, да, Маркуш?.. Да сидите вы, так уж прямо... Ты, Марик, на них внимания не обращай».

«Может, с нами поделишься, хи-хи».

«Язык без костей. Что хочет, то лопочет. Он не из таких...»

«Да такой молоденький...»

«Он поэт. Ты ведь поэт? (Откуда она знает?) Чайку бы. Закоченела вся. А ты, тётъ Насть, со смены, что ль?»

«Да вы раздевайтесь. Тут и сесть негде».

«Я постою, – сказал Марик. – Мне вообще-то пора».

«Посидите». Пожилая отправилась за табуреткой. Клава вошла в комнату с чайником. «Ты отвернись, ишь уставился», – пробормотала она, отворила дверцу, стол поехал, поехало зеркало шифоньера. Клава оказалась в уютном халатике. Карты сгребли в сторону. Явилась на свет из тумбочки белая головка. Явился батон, – живут

же люди, – невиданной красоты колбаса, банка со шпротами, лучок, посреди стола жестяной чайник и на большой тарелке нечто почти сказочное: лоснящееся, нарезанное ломтиками сало, явно не по карточкам.

«Ну, девы, я вам скажу...»

«Чего, снова?...»

«Снова не снова, а в общем... Эх, жисть».

«Не горюй, обойдётся».

Разлили водку по чашкам.

«Уф-ф. Вот проклятая. Да ты чего сидишь, Маркуша! Сальцом закуси».

«Кушайте на здоровье, как вас по отчеству-то».

Сидели, вздыхали.

«Чего, девы, может, споем. Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идёт... Когда б имел золотые горы и реки полные вина!»

Все в отчаянии подхватили:

«Всё отдал бы за ласки, взоры!»

#### 44. Облик женщины

Гость старался не отставать от всех; тётя Настя вышла и не возвращалась; он пересел с табуретки на её стул. Клавдия пересела поближе. На столе воздвиглась вторая бутылка. Марик уже не стеснялся, поглощал всё подряд, мутно поглядывал на соседку. Поистине Клава обладала искусством как-то так устроить, чтобы казалось, что всему так и положено быть: всё было само собой разумеющимся, и знакомство, и этот пир, не надо было ничего объяснять, словно они давно знали друг друга; стало уютно, весело, он испытывал симпатию к этим девушкам, не отличая одну от другой; и они отвечали ему дружеским снисхождением, грубоватым теплом простых женщин.

Между тем что-то незаметно совершалось в оловянных сумерках, в ступившемся воздухе, когда на улицах дрожат и вспыхивают дуговые фонари, блестят лужи и город зовёт и обещает головокружительное приключение. Если бы Марик Пожарский умел разбираться в самом себе, он осознал бы перемену; пока что он мог лишь её почувствовать. Марик научился видеть женщину – искусство не менее сложное, чем умение ходить. Чему он не научился, так это понимать женскую душу, но этот талант был просто ему не дан – и к лучшему: она осталась интригующей, чарующей загадкой.

Зато он прозрел. Близорукий надел очки: на месте облачного целого предстали подробности. Он видел причёску, одежду, поворот головы, тонкую, как у подростка шею, тонкие руки в широких завёрнутых рукавах домашнего халата, угадывал очертания бёдер и даже чувствовал их прикосновение к своему бедру; угадывал и то, другое, что было прикрыто одеждой. Клава была (как уже упоминалось) небольшого роста, бледная, щуплая, с ямкой между ключицами, с крошечной грудью, с блестящими, как антрацит, неуловимо косящими глазами, отчего казалось, что она смотрит и на тебя, и не на тебя, и то, что она не была хороша собой, не портило Клаву, а наоборот, звало и обещало, и оттого вдруг стало так весело! Марик развалился на стуле, рубил кулаком, читал, завывая, стихи. Девы сидели молча, пригорюнившись.

Сперва предгрозовое напряжение,  
Листвы предчувственная дрожь.  
От немоты, от головокруженья,  
От белых молний невтерпёж.

Потом лозняк, заломленный жестоко,  
Багровый свет то тут, то там,  
И шелест трав, как медный шелест тока,  
Летящего по проводам.

Марик читал стихи, где говорилось о дорогах и закатах, о лесах, о природе, которой не существовало в этом городе каменных дворов, подворотен, мусорных ящиков, трамвайных рельс, булыжника и брусчатки.

Ноябрь – и в эту пору года  
Почти весенняя погода!  
И пахнет тополиным цветом  
В лесу –  
совсем как перед летом.  
Но что-то общее с весной  
Стряслось не с лесом, а со мной:  
Ударило хмельным и талым,  
Как веткой, по рукам усталым,  
Дохнуло тайною в лицо...

Он остановился. Девы ждали. «Забыл», – сказал Марик. Он задумался. Комната – тёмный аквариум, мерцающий зеленоватыми огнями за окном. Бледное лицо Клавы... Давно остыл чай. Марк читал...

Загорается солнце над стыком дорог,  
Никогда ты не ступишь на этот порог.  
Плещет платью твоё на холодном ветру,  
Плещет платью твоё на весеннем ветру,  
Обнажая изваянность ног.  
Уходи поскорей и меня не жалея,  
Мне не надо на память прощальных речей... <sup>1</sup>

#### 45. Нечто непредусмотренное

К концу чтения оказалось, что они в комнате остались вдвоём. Пустые койки, плакаты, будильники на тумбочках – тусклый отблеск никеля и стекла. Клава вставала, садилась, не зажигала свет, поила крепким чаем.

«А они, – спросил Марик, – куда же они?..»

«Девчонки? Придут... Да, – проговорила она, кулачком подперев щеку, – здорово у тебя получается. Кто это, в платье? Небось, подружка твоя?»

Поэт подвигал бровями, глядел в пространство.

«Поссорились, что ль?.. А у тебя вообще-то кто-нибудь есть?»

Марик не то кивнул, не то помотал головой, и ничего не ответил. Она вздохнула, покосившись на будильник: «Мне скоро пора...»

«На фабрику?» – спросил он.

«Чего? Ну да, на фабрику».

---

<sup>1</sup> Яков Серпин.

Марик думал: никого нет, пора приступать. Обнять её, что ли.

Оказалось, что и *это* как будто подразумевалось само собой; она сказала, усмехаясь:

«Посидели, выпили, время ещё есть. Пора в кроватку, а?»

Марик несколько растерялся.

Она окинула его взглядом, отвела глаза.

«Это я так, шучу... – И продолжала, задумчиво глядя перед собой: – А я – что такого... я, может, и не против. Думаешь, я бы к тебе подошла, если бы ты мне не нравился...»

Марик прочистил горло. Можно сказать, мысленно засучил рукава.

«Может, зажжём свет», – сказала Клава, вставая. Подошла к двери и щёлкнула выключателем. Брызнул свет над столом. Рюмки, чашки, тарелки с объедками.

Она села рядом, зябко запахнула ворот халата на шее. «Тут такое дело. Мне сегодня нельзя».

«Почему?»

«Ну... войдёт кто-нибудь».

«А мы закрём дверь!» – сказал Марик.

«Всё равно нельзя. У меня краски идут».

Марик воззрился на неё.

«Ну, какие бывают у баб. – Вздохнув, оглядела стол. – Может, допьём?»

Она разлила сомнительный напиток по чашкам, вдумчиво выпила, и Марик, преодолевая отвращение, последовал её примеру.

«На-ка вот, закуси...»

«А ты?»

«Я не закусываю. Я, вообще-то, особо так не выпиваю. У меня папаня пил по-чёрному, сгорел от водки... Я ведь дальняя. Пермьячка, слышал про таких?»

«Коми?» – спросил он.

«Во, сразу видно образованного. Коми-пермяцкий округ, я ведь тоже грамотная. Семилетку окончила, надо куда-то дальше подаваться. Наши девчонки все разъехались, кто в Молотов, кто куда. А я в Москву на производство завербовалась. Сперва в Мытищах, потом ещё в одном месте. Теперь вот здесь...».

«Ну, и как?» – спросил Марик, чтобы что-нибудь сказать.

«Да никак. Мотаюсь по общежитиям».

Она остро взглянула на него, непонятно, в глаза или мимо.

«Я тебе неправду сказала. Насчёт кровей...»

«Они, наверно, сейчас придут».

«Кто, девчонки? Они у меня порядок знают. – Она добавила: – Ты не горюй».

«А я не горюю», – сказал Марик уныло.

«Ну, я в том смысле, что... – Вздохнула. – Хочешь меня поиметь, да?»

Её ладони коснулись халата, нащупали и приподняли то, что не могло быть ничем другим, как грудью.

«Тогда... – сказал он, запинаясь, – в чём же дело?»

«В чём дело... Да ни в чём. Постой, я ещё не досказала. Я тебе что хочу сказать. Ты пьяный, забудешь. И хорошо что забудешь. Ну, в общем, ни на какой фабрике я не работаю. Спасибо, добрые люди нашлись, не выгоняют. Конечно, за деньги. В Москве без денег ни шагу, а где их взять. За станком много-то не заработаешь. А я молодая, мне и того хочется, и того, и чтобы надеть что-нибудь приличное, и покушать. Я пирожные страсть как люблю. Трубочки с кремом: когда-нибудь пробовал?»

«До войны, наверно».

«Ерунда всё это. Ты меня не очень-то слушай, могу и сбрехнуть. Ну, в общем, – проговорила она, вертя в руках пустую чашку, – не хотела тебе говорить, уж больно ты...»

«Что я?»

«Беззащитный. Потом думаю, нехорошо обманывать. А там уж как получится. Ха-ха! – Она вдруг рассмеялась, встала из-за стола. – Друг ты мой любезный. Али не догадался?»

Она встала. Она открыла дверцу шкафа, вынимала и разглядывала платья на плечиках.

«Не догадался, – бормотала она, словно пела тихонько про себя, – не догадался... Да они тебе всё равно скажут. Или не придёшь больше?»

Натянула на руку шёлковый чулок, нет ли дырки.

«Уеду. Брошу всё и уеду. У меня сестра двоюродная в Молотове... Авось там не пропаду... Надоели вы мне все!»

«Кто надоел?»

«Все. Погуляю ещё немного, и... Ну чего смотришь, – сказала она грубо, – баб не видал, что ли... Мне переодеться надо. А вообще-то можешь смотреть, чего там. Смотреть-то нечего...»

Она стояла перед зеркальной створкой, вышла на середину комнаты, в проход между койками, покачиваясь на высоких каблуках.

С торжеством: «Ну, как?».

На ней было короткое цветастое платье с широкими накладными плечами, в ушах клипсы, губы в кроваво-красной помаде, короткая стрижка заколота сверху нежной яркой прищепкой.

Вытащила откуда-то шубку не шубку, накидку не накидку, из рыжего меха.

«Ты вот что. Ты меня не провожай».

## 46. Забытый брат, или радости сельской жизни

*Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок, продекламировал Фёдор Владимирович Данцигер, озирая с крыльца убогую окрестность. Однако на скуку он не жаловался и вообще не имел оснований быть недовольным своей жизнью. Философскую базу возвращения на родину он построил, сражаясь за истину в рядах евразийства еще в двадцатых, еще в тридцатых годах, что же касается материальной базы, то на деньги, какие удалось скопить и привезти с собой, он отремонтировал избу, переложили печь, покрыли крышу железом, повесили новые наличники. Завязались знакомства, начальство не тревожило – возможно, получило указания, а главным образом оттого, что было польщено: осуществив старинный, славный завет опрощения, завет дворянства и русской интеллигенции, облачившись в толстовку, а то и просто в длинную, до колен, подпоясанную рубаху, в замызганных сапогах, в народном картузе, с сивой развевающейся бородой, Фёдор Владимирович стал легендарной личностью в округе. Кто он и откуда, толком никто не знал, известно было – большой человек, а в то же время негордый, не зазнаётся, умеет уважить каждого. Разнёсся слух, что он здешнего корня, чуть ли не бывший помещик, но и это лишь прибавило славы Фёдору Владимировичу. Случалось, и районные чины заезжали к нему на поклон. И всё шло чинно, путём, не торопясь, как оно шло спокон веку в глубинной, невозмутимой, как морское дно, России.*

По утрам Фёдор Владимирович, голый до пояса, делал гимнастику в огороде, затем, пофыркав в сенях перед рукомоиником со студёной водой, утёршись, напяливая рубаху, входил в избу, крестился на образа в красном углу, отрывал листок календаря, подтягивал гири часов-ходиков и, пыхтя, сопя, протискивался за чисто выскобленный стол к самовару. Кто-то тем временем деликатно стучал в окошко. Марья Кондратьевна

отмахивалась: «Небось подождёшь... успеется». Это ходил по улице вдоль домов колхозный бригадир, сзывал на работу. Она была женщина крепкая, степенная; где-то в городе проживали её взрослые дети, сама же она как бы остановилась между сорока и шестидесятью годами – ни единого седого волоска, на щеках тёмный румянец. По субботам, в полутёмной, пахнувшей сырým гнильём, мылом и берёзовым листом деревенской бане оба являли зрелище ветхозаветной супружеской пары: она невысокая, белокожая, крупнозадая, с маленькой отвисшей грудью и крепкими плечами – и он, большой, пузатый, поросший седым волосом, с крестиком между грудями, с остатками белых кудрей вокруг голого черепа, с фамильной мясистым носом и могучей шеей, всё ещё пышущий здоровьем и жизнелюбием. Баня в представлении Фёдора Владимировича была не просто гигиеническим мероприятием, баня – символ вечно обновляющегося бытия, залог здоровья мистического народного тела. В колхозе Фёдор Владимирович не числился, да и странно было бы гнать его на работу, Марья же Кондратьевна, убрав со стола, отправлялась часика на два, чтобы не придирались, зато усердно и долго копалась у себя в огороде, на четырёх сотках приусадебного участка.

Фёдор Владимирович из всей своей парижской библиотеки сохранил лишь горючо любимого им Пушкина, семейную Библию, «Pensées»<sup>1</sup> Паскаля, несколько разрозненных томов «Истории России» Сергея Соловьёва, «Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der russischen Revolution»<sup>2</sup> с витиеватой дарственной надписью автора, Фёдора Августовича Степуна, старого друга и непримиримого оппонента, товарища по судьбам, по изгнанию... Да ещё томик возлюбленного Новалиса, да ещё Ницше, теперь совершенно ненужного. Везти книги с собой было небезопасно, – всё-таки, знаете ли, атеистическое государство, – он переправил их с помощью приятеля-дипломата, но для работы, в сущности, не требовалось ничего, необходимые цитаты он помнил наизусть.

Весь план книги был в голове. Фёдор Владимирович сидел за столом среди вороха листков, из которых немногие были исписаны сплошь его длинным наклонным почерком, а большей частью представляли собой короткие разрозненные заметки, иногда три-четыре строки: ключевые слова, догадки, озарения, ответы воображаемому оппоненту; были даже странные чертежи, кружки и символы, магический масонский треугольник и два треугольника один на другом – щит Давида. Наконец, были рисунки. Немало бы удивился биограф, поломал бы голову, увидев листок с искусно выполненной пером и цветными карандашами дородной обнажённой дамой; ко лбу, к локонам, глазам, соскам, к ямке пупка и широкому лону тянулись стрелки, поясняя значение этих ориентиров; то было символическое изображение праматери Евы – она же София, Вечная Женственность и Четвёртая ипостась; она же и православная Русь; таково было прозрение таинственной связи христианского тела России с космогоническим эросом.

Всё это, выношенное и обдуманное, теперь предстояло связать и свести воедино. Фёдор Владимирович Данцигер не был, конечно, столь наивен, чтобы рассчитывать на прижизненную публикацию своего труда. Но мало ли мы знаем творений русского гения, дождавшихся десятками лет своего часа и в конце концов дождавшихся. И кто знает, не накопит ли выдержанное вино полный букет, не окажется ли книга особенно созвучной подрастающему поколению, племени младому незнакомому. Но прежде следовало набросать предисловие. *Благосклонный читатель*, – писал Фёдор Владимирович, – возможно, помнит то место в «Мёртвых Душах», где помещик Тентетников раздумывает над сочинением, которое – дадим слово Гоголю – «долженствовало обнять Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить

---

<sup>1</sup> Мысли (фр.)

<sup>2</sup> Лик России и лицо русской революции (нем.)

*затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно её великую будущность". Было бы самодеянным, в наш век специализации и неизбежно связанного с ней дробления знаний, предлагать нечто подобное, однако надеемся, что труд наш не обманет ожиданий читателя, который взывает единой универсальной истины, ищет обобщающего слова, жаждет синтеза...*

В эту минуту (поглядывая в окошко между горшками цветов на деревенскую улицу со следами протарахтевшего трактора, на полуобвалившийся плетень, за которым, на той стороне, стоял никому не принадлежавший сарай и простиралась пустошь, некогда бывшая овощным полем) он подумал, что нигде, ни в постылой Франции, ни в околевшей под бомбами Германии не сумел бы исполнить свой долг мыслителя, патриота и христианина, – ни даже в российских столицах. Только здесь, на дне и в сердцевине. Здесь, Бог даст, он и окончит свои дни. Он вспомнил слова Гарденберга-Новалиса: человек есть источник аналогий во Вселенной. Вспомнил фразу Гёте о том, что, если следовать путём аналогий, то всё окажется в конечном счёте тождественным. И снова Новалис: когда физическое нисхождение по ступеням чувственного влечения достигает оргазма – совершается восхождение духа до экстаза. «Смысл и символика чувственности» – так должен был называться один из разделов имеющего явиться на свет всеобъемлющего труда.

Однажды он умрёт от разрыва сердца здесь, среди снегов. В жарко натопленной бане, на груди у Марьи Кондратьевны, в мягких, цепких объятиях родины, в смертной судороге, на высоте неслыханного наслаждения.

## 47. Некто Геннадий

Он писал дальше.

Эта страна всегда вызывала у иностранцев удивление, недоумение, восхищение, озабоченность, а подчас и ненависть, и вражду; никто, однако, не оставался равнодушным к этой стране; и постоянство этих эмоций, беспокойное внимание, которое она привлекала к себе на протяжении веков, сами по себе наводят на мысль, что в смене эпох, в череде невзгод и триумфов Россия хранила в себе нечто таинственное, незыблемое и непоколебимое, некое ядро, великую надысторическую идею. Настало время раскрыть эту идею.

Ближе к полудню Фёдор Владимирович покидал рабочий стол, запахивался в плащ, больше похожий на армяк, и во всякую погоду, в зной и дождь, с палкой в руке, в широкополой ветхой шляпе отправлялся бродить по некошенным лугам. Шагал по меже одичавшего поля, по шаткому мостику перебирался через тихую, тенистую речку, усаживался на старый пень где-нибудь на лесной опушке, у непросыхающей колеи. Когда он возвращался, хозяйка уже хлопотала у плиты. По субботам в полукруглом чёрном зеве русской печи, в «печи огненной», как шутил Фёдор Владимирович, полыхали берёзовые поленья, Марья Кондратьевна, с раннего утра на ногах, в рукавицах, в оранжевом зареве, сгребала длинной кочергой алые угли, отставив кочергу, отвернув лицо от жара, вдвигала внутрь противни с бледножёлтыми лоснящимися пирогами. Уму непостижимо, откуда всё бралось в обезлюдевшей, Богом забытой деревне. В полдень, воротившись из бани, румяный и убогаторённый, философ восседал за столом.

Приходил Геша, Геннадий, кем-то приходившийся Марье Кондратьевне – брат не брат, седьмая вода на киселе: «повадился», как она говорила; но Фёдор Владимирович был ему рад, охотно беседовал, больше говорил сам. Хозяйка ставила на стол блюдо с оранжевыми глыбами пирога с капустой, с печёнкой, с грибами, являлся на Божий

свет пузатый графинчик, зелёный лучок, хлеб из сельпо, так называемый серый, нарезанный крупными ломтями; наконец, несомая обеими руками в чугунной сковороде, шипящая и журчащая яичница с салом. Опять же загадка: ни разу в далеких своих прогулках, проходя мимо человеческого жилья, Фёдор Владимирович Данцигер не слышал ни бляенья, ни хрюканья; откуда этикие яства?

Как видно, любознательный Геннадий питал особенную симпатию к Фёдору Владимировичу, тут начинались расспросы о Париже (тема, никогда и ни с кем не обсуждавшаяся), о француженках и французах, которых Геннадий назвал «сифилистиками» (философ пожимал плечами), разглядывание книжек, фотографий, следовали подробные объяснения, что и как. Тут подвыпивший Фёдор Владимирович ощущал себя в двойной роли неоплатного должника перед народом и наставника нищих духом. Полный вдохновения, цитировал Тютчева. *Эти бедные селенья. Край родной благословенья.* Сам Христос посетил эту землю. Так оно и шло; потом вдруг этот Геннадий пропал, больше не появлялся, а немного спустя, в одно тёплое осеннее утро, как раз когда Фёдор Владимирович в шляпе и армяке собрался на прогулку, послышалось стрекотанье мотоцикла. Человек в шлеме и крагах остановил свой экипаж, пригласил сесть в коляску. Фёдора Владимировича Данцигера вызывали в районное отделение милиции. Отделение милиции, зачем? «А насчёт прописки». – «Какая прописка? Меня в сельсовете заверили...» – «То сельсовет, а то район. Да вы не беспокойтесь, сегодня же и вернёмся». Он не вернулся ни сегодня, ни на другой день, книги его забрали, бумаги сожгли, Кондратьевне сообщили, что никто у неё не квартировал. Вообще никакого Фёдора Владимировича, как ей объяснили, никогда в природе не существовало.

#### 48. Товарищ Данцигер

Где причина, где следствие? Мы становимся жертвой дурной игры слов. Ибо следствие, если и происходило, то не было следствием, какое же это следствие, если всё решено заранее – задолго, может быть, до ареста. Причина же, если считать причиной негодяя Геннадия, тоже, если вдуматься, не была причиной; истинной причиной был сам философ, а из неё уже вытекал Геннадий, или вообще неважно кто. Приходится, стало быть, пересмотреть правомерность этих понятий, – а лучше сказать, приходится отказаться от причинно-следственного образа мыслей.

Заблуждением, пережитком этого образа мыслей было бы думать, что крушение старшего брата стало причиной неприятностей для младшего, и таким же заблуждением будет обратный вывод – что гибель Фёдора Владимировича была следствием крушения Сергея Ивановича. Ибо на самом деле судьба Данцигера-младшего – или, как он теперь именовался, «товарища Данцигера» – невидимо и неслышно, как червь в яблоке, зрела в нём самом, дожидаясь своего часа, и никто этот час не мог предсказать.

Таинственна, причудлива судьба слов. Профессор Данцигер с удовольствием побеседовал бы на эту тему. Старинное слово, предположительно тюркского корня, завалявшееся на антресолях языка, зацвело новой жизнью после революции, *наше слово гордое – товарищ*; но как-то незаметно это цветение стало издавать недобрый запах; всё сильнее от него тянуло покойницей. И вот, наконец, оно съехало в разряд вокабул, которыми лучше не пользоваться. *Товарищ Данцигер, некоторые товарищи...* – тут слышалось нечто отнюдь не товарищеское, несло чем-то другим, и те, к кому с этим словом обращались, чуяли в нём недобрый знак. Заседание, на котором присутствовал только один беспартийный товарищ, увы, это был он сам, открылось кратким вступительным словом секретаря комитета. Слепой гипсовый лоб в углу на тумбе, вода в

графине, портрет Вождя на стене – все как положено; и Сергей Иванович в качестве лица всё ещё уважаемого помещался тут же за председательским столом, с торжественно-насупленным видом, как на рыбалке, как за красным столом президиума, в предвкушении своей миссии, чтобы подняться и объявить о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с... – и шквал рукоплесканий. *Разрешите считать ваши аплодисменты знаком согласия.* И снова овации. Но сейчас никакого почётного президиума избирать не предполагалось, и неясно было, для чего понадобилось присутствие профессора Данцигера.

Секретарь партийного комитета выступил в свете недавних решений, указал на необходимость борьбы с проявлениями низкопоклонства перед Западом, попытками принизить всемирно-историческое значение великой русской литературы. Пока всё шло на верхних регистрах общих фраз, можно было предположить, что заседание созвано с формальной целью откликнуться на историческое постановление. Постепенно он подъехал к главному. Всё ещё не говорилось, в чём именно состоит это главное, речь напоминала игру в «холодно» и «горячо», и слушатели угадывали постепенное повышение температуры. Ага... вот в чём дело. Вопрос стоит, сказал секретарь, о ненормальной обстановке, сложившейся на кафедре западной литературы. Кто хочет высказаться?

De te fabula narratur <sup>1</sup>, сказал себе профессор Данцигер, при этом он моргал, как филин, и поглядывал на сидящих. Можно ли было этот «вопрос», вообще всё это считать неожиданностью? Едва ли. Верный все той же, изжившей себя традиции каузального мышления, он и теперь подозревал за кулисами спектакля интриги завистников. Так оно и есть, – Сергей Иванович почувствовал странное удовлетворение, – парторг обратил выжидательный взор на сидевшего в первом в ряду стульев аспиранта N, тот поспешно поднялся, начал было говорить, но секретарь прервал его, мягко сказав: «Прошу лицом к товарищам», и повернул жестом к присутствующим. Аспирант, личность малоинтересная, не пользовался симпатиями заведующего кафедрой, так что налицо был личный момент. Присутствующие так и подумали. Аспирант был уже не молод, лысоват, изглодан жизнью; приехал из Тьмутаракани, проживал в общежитии с женой и ребёнком, мотался в поисках молока и выстаивал очереди в детской поликлинике, – а тут розовые щечки, холеная борода, дворянский прононс, тут подчеркнутая учтивость, на самом деле издевательская, хуже всякого хамства; чему же удивляться? Аспирант успел пробыть в аспирантуре положенный срок без результата, получил продление срока, сменил тему диссертации, снова ничего не сделано, и ведь не скажешь, что лентяй, просто ничего не получалось. Становилось ясно, что держать его на кафедре дальше невозможно, в неких инстанциях возникла заминка, невидимые руки, державшие его, разошлись как бы в недоумении, встал вопрос о направлении по путёвке партии в колхоз, председателем. Но тут представился последний шанс. Аспирант N прочистил горло, заглянул в заготовленную бумажку.

Заведующий кафедрой Сергей Иванович с тусклым любопытством, открыв рот и как-то особенно часто хлопая глазами, взирал на стоявшего к нему спиной аспиранта, который нёс околесицу, мямлил невразумительное, однако постепенно приободрился, хотя всё ещё обращался неизвестно к кому. Сергей Иванович слегка поднял брови, уловив, наконец, то, чего следовало ожидать, чего ждали и другие, а именно, что речь шла конкретно о нём; аспирант назвал его «товарищ Данцигер», а о себе говорил: «мы, молодые учёные», и этим, собственно, всё уже было сказано и доказано; всё, что последовало за этим, – о горячей благодарности парткому, который вовремя обратил внимание, о том, что старшие товарищи поправят выступающего, если он в чем-то неправ, но что совесть коммуниста требует от него сказать правду, – было ритуальным

---

<sup>1</sup> О тебе сказка сказывается (лат.)

украшением, необходимым гарниром к товарищу Данцигеру. Великое достоинство ритуала состоит в том, что он освобождает участников от сомнений; так игра на сцене не возлагает на актёров ответственности за содержание пьесы.

Однако... однако хорошая пьеса всегда заключает в себе элемент неожиданности. Покончив с аспирантом, секретарь парткома оглядел собравшихся, очевидно, рассчитывая на других добровольцев. Собственно, второй доброволец был предусмотрен. Предполагалось, по сценарию, что выступит с критикой своего шефа доцент Капустин. Но он вдруг заболел.

Поднял руку член бюро Юрий Иванов. Секретарь парткома был приятно удивлён, кивнул, показывая, что одобряет инициативу. Иванов неуклюже поднялся с места, снял пенсне, надел, оглядел присутствующих. И произнёс что-то несуразное. Секретарь не верил своим ушам. И никто не верил. Иванов сказал, что не понимает, в чём дело.

Что значит – не понимает, сухо спросил секретарь.

Иванов сказал, что борьба с низкопоклонством нужна и необходима, всем известно значение великой русской литературы. Тут ожидалось, что он добавит: и самой передовой в мире советской литературы. Он не добавил, видимо, забыл. Мировое значение, повторил Иванов. Но ведь кафедра-то – не русской, а западной романо-германской литературы, почему же профессор Сергей Иванович, «которого мы все знаем...» Он хотел продолжать, парторг смотрел на него длинным парализующим взглядом. «Конечно, знаем!» – веско сказал парторг. «Я как коммунист...» – начал было снова Иванов, но секретарь комитета больше на него не смотрел. Увидев, что Иванов всё ещё стоит, он сказал: «Вы можете садиться». Иванов впился в него взглядом, видимо, сдерживая нахлынувшую ярость, секретарь вздохнул и оглядел стены комнаты поверх голов. Не хочет ли ещё кто-нибудь из товарищей высказаться? Никто высказаться не пожелал. После скучного выступления аспиранта N эпизод с Ивановым развлек присутствующих. Все молчали. Сам Сергей Иванович безмолвно глядел на своего студента, слегка подняв седые брови, моргал глазами филина, непонятно было (и сам не мог понять), одобрял он или осуждал неожиданный демарш. Потом опустил голову, чмокнул губами, как бы сказав: «Так!», сокрушённо кивнул и неслышно побарабанил пальцами по столу.

Предполагалось, что наступила его очередь. Секретарь повернётся к Сергею Ивановичу (тот всё ещё пребывал в задумчивости) и произнесёт: «Может быть, профессор Данцигер сам объяснит...» И все как будто уже услышали его покаянное слово. Вот он поднимается... то есть ещё не встал, но сейчас поднимется и скажет, что с большим вниманием выслушал критику товарищей и коллег. Строго, с принципиальных позиций, наедине со своей совестью проанализировал свои ошибки. Сейчас... да, сейчас парторг предоставит слово для выступления товарищу Сергею Ивановичу Данцигеру, профессор Данцигер встанет и негромко, с достоинством прочистит голос. И, Бог даст, всё обойдётся. Профессор, однако, не встал и не просил слова. Вообще это был день сюрпризов. Секретарь, выдержав паузу, траурным голосом сказал, что обязан довести до сведения товарищей – в партком поступили сведения, проливающие новый свет.

Как теперь стало известно, профессор Данцигер долгие годы скрывал, что у него имеется брат белоэмигрант, окопавшийся в Париже, активный противник народной власти. Некоторое время тому назад он заявил о своём якобы раскаянии. Советское правительство разрешило ему вернуться на родину. Как теперь стало известно, этот человек, по происхождению немец, с которым профессор Данцигер все эти годы находился в постоянном контакте, разоблачён как агент одной из иностранных разведок. Профессор Данцигер скрыл и это. Думается, что необходимо – как минимум, добавил секретарь, – поставить вопрос об освобождении Данцигера от обязанностей заведующего кафедрой и его дальнейшем пребывании в университете.

## 49. О чём он думал. О чём вообще думают люди

Для Софьи Яковлевны это будет страшный удар, ведь она ни о чём не подозревает. Надо было предупредить. Но о чём, разве я ждал чего-либо подобного? – думал профессор Данцигер.

Ждал, конечно. К этому шло... Вопрос в том, следствие ли это общей обстановки. Или просто махинации. По-видимому, и то, и другое. Интриги, зависть, закулисная возня – всё это было и будет всегда, а уж в академическом мире... – я-то этот мир хорошо знаю. Но обстановка поощряет. Обстановка вдохновляет вот таких ничтожеств – он взглянул на аспиранта. Боже мой, разве я ему помеха? Наоборот, и в этом всё дело. Я для него спасательный круг. На мне он может выплыть, во всяком случае продержаться на плаву.

Профессор Данцигер прислушивался к тому, что говорили выступавшие, сначала секретарь, потом этот жалкий, внушающий сострадание, которого навязали ему в аспиранты, – прислушивался, почти не слушая, улавливая ключевые слова, как слепой идёт дорогой своих дум и забот, движениями посоха контролируя ситуацию. Профессору Данцигеру стало скучно: если уж на то пошло, он всё знал заранее. Хоть и надеялся до последней минуты, что «это» его минует. Что – «это»?

Классовая ненависть, ответил он сам себе, *c'est le mot*<sup>1</sup>. Карлхен был прав. (Так он про себя называл некоего обобщённого Маркса). Классовая ненависть, размышлял профессор Данцигер, есть необходимое следствие классовой солидарности, ведь в конце концов секретарь и этот аспирант – одного поля ягоды. Ненависть варваров к римлянину, к касталийцу.

Нет, мы не зря (кто это – мы? Мы, старая профессура, те, кто остался. Кто хотел искренне сотрудничать с народной властью, да, народной, а вы как думали?), не зря признали правоту марксизма, ни в одной стране жизнь не давала столько доказательств этой правоты, как у нас. Спуститесь на землю! Жизнь проще, грубее, прямолинейней, чем вы думали. Пока вы там плавали в мистических облаках, как брат Фёдор. Когда же это я получил от Феди последний раз весточку, думал Сергей Иванович. Он прислал её с оказией...

Ах, какая неосторожность. Удивительно, но ему удалось поселиться недалеко от бывшего имения мамы. Мы оба молчаливо согласились, что нет необходимости поддерживать регулярную связь – по крайней мере, пока я заведу кафедру.

Монография почти готова, на русском языке ещё не было столь глубокой, столь обстоятельной работы об иенском кружке, – такое множество новых наблюдений, фактов, приведённых в связь и освещённых по-новому, такая точность и яркость портретов – поистине коронный труд его жизни. Да, уж это точно: не было и не предвидится, – он вздохнул, кивая своим мыслям. Разве что в Ленинграде Берковский. Но тоже, знаете ли. Новое поколение. Куда им, дай Бог, чтобы освоили азы. Так что придётся пока попридержаться. Пока вся эта муть осядет...

На докладе в Академии Сергею Ивановичу ставили в вину недостаток идеологического обоснования. И одновременно – как это ни комично – чрезмерную идеологизацию. Кто-то договорился до обвинений в вульгарном социологизме. Но, помилуйте. Развенчание шаблонов, пресловутой *poésie de la nuit et du tombeau*<sup>2</sup>, а заодно и развенчание романтических представлений о самих романтиках – см., например, мой комментарий к Песне мёртвых у Новалиса – всё основано на серьёзном анализе, всё это, господа, наука, отнюдь не идеология. Во всяком случае, не та. От которой, кстати сказать (*Klammer auf, Klammer zu*<sup>3</sup>), вообще мало что осталось. Эта идеология попросту

<sup>1</sup> вот именно (фр.)

<sup>2</sup> поэзии ночи и могилы (фр.)

<sup>3</sup> открыть и закрыть скобки (нем.)

свелась к цитатам. Вам нужны цитаты? Ради Бога! Разве я не ссылаюсь в предисловии на... В сущности, война её добила. Да оно и понятно: старая легитимация обветшала, нужна новая. Да, подумал профессор Данцигер, надо было предупредить Соню, что этим пахнет, подготовить её... А может быть, надо было вообще уехать, тогда же, сразу после того, как выслали Федю. Тогда ещё было возможно. Нет, это смешно, да и что бы я стал там делать. То же, что другие. Нет, это смешно. Другое дело, нужна ли вообще какая бы то ни было идеология историку, в данном случае историку литературы. Не ведёт ли она к злоупотреблению историей. Скажем прямо, еретический вопрос; и тем не менее. Ага, снова о космополитизме. Намёк на мою фамилию? Господи, какой я немец? И что они знают о космополитизме – они извратили это слово. В устах Гёте оно звучало иначе.

Что и говорить, приятная неожиданность: ведь все думали, что этот фронтовик присоединится. Господи, неужели он не понимает. Бедный молодой человек. Теперь у него тоже будут неприятности. Ну-с, а теперь следующий номер нашей программы – покаянное слово г-на профессора. Между прочим, если вдуматься, то ведь они правы. На свой лад, конечно. Варвары правы по-своему. Прежняя легитимация себя изжила, нужна новая. И она может быть только национальной. Даже, если хотите, националистической. Пусть это делается топорно, но суть... Боже мой, разве я не доказал, что люблю Россию, когда отказался уйти в эмиграцию.

А-а, вот оно что. Только, ради Бога, сохранить спокойствие. Встать и сказать... что сказать? Он мне и слова-то не даёт. Всё равно как если бы сказали – у тебя неоперабельный рак. Даже ещё хуже. Бедная Соня. Они-таки добрались до Фёдора. Чёрт его дёрнул вернуться. Что он, не понимал, какая это страна; что она провалилась, вслед за Германией, в какую-то другую историю – древнюю, среднюю или, может быть, ультрасовременную? Агент... нет, как вам это нравится? Это Федя-то, думал (или мог думать) профессор, без пяти минут академик Сергей Иванович Данцигер. Думал – или мог думать – и вечером, сидя перед молчащей Софьей Яковлевной, и на следующий, и через неделю, когда уже не оставалось сомнений, что ночью позвонят в дверь и скажут: «Проверка паспортов». Обычная формула.

## 50. И наших песен звонкие слова

«Много чего было. Я, когда в Мытищах жила, совсем замаялась. Меня на шёлкопрядильную фабрику определили, в ночную смену, а туда ездить надо полтора часа туда, полтора обратно. Ну, думаю, я тут помру, куда деваться? Представь, нашла одно место. Оформили мне увольнение, по болезни. Давай выпьем».

«Короче говоря, к людям пошла работать, к одному начальнику. Квартира, я тебе скажу, прямо дворец. Полы паркетные, полотёр приходит. Мебель вся из Германии. Три комнаты: в одной они двое, в другой парень ихний, а третья гостиная. Да ещё кладовка, я там и спала. Всё делала: и готовила, и убирала, и за бабкой ухаживала. Наобещали мне три короба, прописку постоянную, то, сё. А зарплату не платят. Два месяца прошло, я спрашиваю, как, мол, насчёт денег. Ах, ах, извиняемся, много расходов, вот муж получит, отдадим. Ладно, жду, ещё неделя проходит, другая, бабка мне говорит, а была как раз суббота: мы тебя отпускаем сегодня пораньше. С зарплатой задержались, ты уж прости, вот тебе за два месяца. Я говорю: спасибо. Приезжаю, мне девчонки говорят: а ты новость знаешь? Завтра реформа. Только это пока что секрет. Какая реформа? Денежная, один к десяти. И верно: наутро объявляют. А у меня получка на руках: что успеешь, покупай; а чего покупать, когда ничего нет. Или меняй, получишь с гулькин нос».

«В понедельник прихожу к ним, так, мол, и так, что же вы мне деньги выдали перед самой реформой. Ведь знали, что будет реформа. Нет, говорят, – нагло так, прямо в глаза, – ничего мы не знали. Ну хорошо, думаю, вы от меня так просто не отделаетесь. Говорю хозяйке: у меня к вам разговор. Какой разговор? Женский, говорю».

«Вышли в другую комнату, я говорю: так и так, давно собиралась вам сказать, я в положении. Поздравляю, говорит, а кто же счастливый отец? Я, конечно, мнусь, вроде бы стесняюсь сказать. Сынок ваш, говорю. Да как это, да не может быть, да ведь он несовершеннолетний. Какой, говорю, несовершеннолетний; он мне проходу не давал, а я девушка слабая. А ты уверена? Тебе надо сходить к врачу. Была, говорю, и справка есть, десять недель. Может, аборт сделать? Мы поможем. Нет уж, говорю, аборт делать не буду. У нас, говорю, за аборт сажают. И вообще: первую беременность прерывать нельзя, ещё бесплодной останусь. Да этого не может быть, да это не он! А вы, говорю, своего сыночка ещё не знаете. Хотите, позовите его, только, говорю, он все будет отрицать. Кто же это станет признаваться. Ну, вот видишь, – она мне говорит, – нет у тебя никаких доказательств. Есть, говорю. Мне врач сказал, можно сделать анализ на отцовство. В общем, наговорила ей. Заплатили мне отступные, новыми деньгами, рады были от меня отделаться».

«Давай за именинницу. Я ведь именинница сегодня. Угадай, сколько мне лет, ни за что не угадаешь».

«А то раз чуть замуж не вышла. Это уж потом, когда сюда перебралась. Смех один, глупая была. Подкатился ко мне однажды такой из себя видный, в шляпе, сразу видно иностранец. По-русски говорит нормально. Я давно вас заметил, только не решился подойти. А чего, говорю, ко мне все подходят. И так нагло ему: хотите, дескать, получить удовольствие? Он на меня смотрит и говорит: не надо. Не надо так говорить. Я по вас вижу, вы не такая. А какая же? – спрашиваю Я, говорит, давно за вами наблюдаю. Спасибочки, говорю, вы что, из милиции? Да нет, как вы могли подумать. Я вообще-то приезжий, из-за границы. А по-русски так хорошо болтаете. А у меня, говорит, бабушка была русская, она меня вырастила».

«В общем, разговорились. Он мне так понравился. Даже не потому, что он такой красивый. Уж очень со мной хорошо разговаривает, уважительно. Глупая была. В общем, такая история, хочешь, расскажу. Ну давай, Маркуша, выпьем. Вон сальцом закуси».

«Он мне и говорит: хочу продолжить с вами знакомство. Только мне не хочется, чтобы вы тут ходили. Ну, думаю, ёлки-палки, послал Бог ухажёра. А я, говорю, девушка свободная, хочу гуляю, никто мне не запретит. Но ведь запрещено, говорит. Ага, так ты всё-таки мильтон, так бы и сказал. Нагло так говорю ему. Он молчит. И голову опустил. Потом говорит: перестаньте паясничать. У вас, наверно, есть покровитель. Есть или нет, говорю, это не твоё дело. Хочешь со мной идти, так пошли. За раз, говорю, столько-то. А если подольше, то столько. А нет, так и нечего лясы точить, вали откуда пришёл».

«Прямо так ему и говорю. Он посмотрел на меня, ничего не ответил. Повернулся и пошёл. И так мне вдруг стыдно стало, он-то ведь со мной по-хорошему. Сама не знаю, что делать, догнать, что ли. Вижу, он свернул к этому, ну, который там стоит. К памятнику. Догнала; говорю ему, вы меня простите, я необразованная, жизнь, говорю, такая грубая, кругом одно хамло. Это верно, говорит, жизнь у вас нелёгкая. А вы откуда, вообще-то?»

«Ну, я ему рассказала, так, мол, и так, приехала с Урала. А как вас зовут? Клава, говорю, Клавдия; а вас? Знаете, говорит, здесь холодно, – а мы сидим на скамейке, – вы легко одеты. Может, зайдём ко мне, я тут рядом живу. Я смеюсь, ну вот, говорю, чего ж вы сразу не сказали».

«Тебе не скучно? Хочешь, потанцуем, как тогда. Ты у меня сегодня единственный гость. Я девам так и сказала: мы лучше с вами другой раз отпразднуем, а сегодня вечером я хочу быть вдвоём с Маркушей».

«Короче говоря, он меня тащит прямо в “Метропóль”. Нет, говорю, вы уж не обижайтесь, нам туда ходить не положено. Я говорю, меня туда всё равно не пустят. По мне видно, говорю, кто я такая. Нет, ты не такая. Давай, если не возражаешь, будем на ты. Вошли мы, а там внутри так шикарно. Швейцар стоит, прямо генерал. Мой Гарри – его Гарри звали, а фамилию я так и не узнала – этому швейцару что-то сказал, тот на меня глазом зырк и ни с места, стоит, весь в позолоте, в фуражке, штаны с лампасами. В общем, поехали на лифте, зеркала, сама себя не узнаю. Он, оказывается, живёт там в номере».

«Я спрашиваю, мне сразу раздеваться или как. Так нет, он на меня серьёзно так посмотрел и говорит: я хочу, чтобы ты поняла. У меня к тебе совсем другое отношение. Мы поужинаем, говорит, а потом я тебя отвезу домой, ты где живёшь? В общежитии. Ну вот, отвезу тебя в общежитие».

«Вижу, он что-то мнётся. А тут вдруг стучат в дверь. Я перепугалась. Не беспокойся, говорит, лучше вот пододвинь стол сюда к дивану. Сам подходит к двери, а там официант с подносом. Гарри ему чаевые в зубы, то есть я хочу сказать – в карман, такой кармашек на груди, специально для этого, взял у него поднос, спасибо, говорит, мы сами управимся. Мне говорит: накрывай на стол, будь хозяйкой. Да, – я что хотела сказать. Я там что-то делаю, расставляю тарелки, а он ходит взад-вперёд. А у него там вторая комната, спальня. И дверь открыта. Кровать, ну просто огромная, не то что вдвоём – впятером можно спать. Он всё ходит. Потом подошёл ко мне и говорит: нож надо положить справа, а вилку слева. И салфетку не просто так, а свернуть, и стоймя на тарелку».

«Вон там, говорит, цветы, поставь вазу на стол, посередине. Я, говорит, Клавдия, понимаю, ты сегодня осталась без заработка. Так вот я тебя прошу, не в службу, а в дружбу, возьми у меня, и суёт мне деньги. А вот – я ему говорю – заработаю, ты мне и дашь; сама смеюсь. И на кровать глазами показываю. Да, говорит, заработаю. И головой кивает. Нет уж, не будем. Не хочу, чтобы ты меня своим клиентом считала».

«Ну, в общем, что тебе сказать. Поужинали мы, пили, уж не знаю какие вина. Я даже захмелела. Он ни в одном глазу. И всё время серьёзный. А я, как дура, всю дорогу хохочу. Так мне стало с ним вдруг хорошо. Вот как с тобой. Только я так и не поняла, кем он работает. Вообще – кто он такой. Вроде бы и русский, и не русский. Может, шпион. Говорю ему: ты что, шпион? А сама думаю: да какое мне дело. Сидим мы так, время заполночь, нет, думаю, нехорошо будет так просто смотреться. В общем, снимаю с себя тряпки потихонечку. И, представь, мне даже самой интересно. Уж очень он мне понравился. Совсем почти осталась без ничего. Он на меня смотрит, руки сложил. Я к нему подхожу, галстук развязала, галстук на нём шикарный, сорочку расстёгиваю, он всё сидит. Ну что, говорю, милый, так уж, говорю, положено. Целую его. Только, говорю, не думай, что я за деньги».

«Он говорит, я так не думаю. Только знаешь, Клава, лучше мы не будем. Я вижу, какая ты красивая, всё у тебя замечательно, так и сказал: замечательно. Но лучше мы сегодня не будем. Ты, говорит, не обижайся, прими душ, придёшь в себя, я тебя отвезу».

«Я ещё подумала, у него, наверно, что-нибудь не того; так ты не стесняйся, говорю, милый, я тебе помогу. Он усмехнулся и говорит: ты меня неправильно поняла. Не знаю, конечно, но женщины на меня не обижаются. Давай, Клава, – и повёл меня в ванную, – прими душ, а хочешь, полежи в воде, вот тут полотенце, простыня. Лежу я, как королева».

«Он позвонил, – там у него в номере и телефон, – вызвали такси, мы с ним сели и поехали. Он всю дорогу молчал. Я говорю: пусть остановится тут на углу, не хочу, чтобы ты видел, где я живу. В общем, стали мы встречаться. Я, конечно, с ним сошлась. Гулять перестала. Он мне подарков разных надарил. Думаю: а что же дальше? Бросит меня, наверно. И точно, однажды он мне говорит, у меня к тебе разговор».

«Я должен уехать. У меня были дела, теперь срок вышел, пора домой. А я ведь такая была дура, ничего не знала, никогда не спрашивала. Раз он сам не рассказывает. А тут не выдержала и спрашиваю, где же ты живёшь. Как где, говорит, в советской зоне. Что это за зона такая? А это, говорит, наша социалистическая Германия, неужели не слыхала. Я говорю, откуда мне знать, я тёмная. Он смеётся. Потом говорит: у меня к тебе, Клава, есть предложение. Поедем со мной. Как это, с тобой; да кто ж меня пустит. А ты, говорит, не беспокойся. Я всё обдумал, у меня большие связи, поедешь в гости как моя родственница, в общем, наговорил мне. Я говорю: у тебя там небось семья. Семья, да, – мать, сёстры. С женой я в разводе. Поживёшь у нас, понравится, мы с тобой поженемся. А не понравится, вернёшься».

«Я целую ночь не спала. Шутка сказать. Утром встала, перед зеркалом стою и думаю: куда ты такая мымра поедешь, что он в тебе нашёл? Собрала кой-что, девчонкам говорю, я, может, не вернусь. А он меня предупредил, чтобы я никому ни слова. И я им ничего не рассказывала, говорю только – мне надо отлучиться. Может, на время, может, вернусь; а может, и насовсем; будущее, мол, покажет. Приезжаю на вокзал».

«А там на эти перроны, откуда поезда за границу уходят, туда не пускают, всё загорожено. Мы так с Гарри договорились: я буду в зале, возле Сталина. Стою, жду».

«Знаешь что. Не хочу я больше рассказывать. Что я всё болтаю. Соловья баснями не кормят. Лучше с тобой потанцуем, как тогда, ты ведь научился, да? А чего там учиться-то. Я вот и патефон принесла. Сейчас поставлю».

*Люблю, друзья, я Ленинские горы. Там хорошо встречать рассвет вдвоём!*

«Ну чего рассказывать. Жду; целый час прождала. Потом думаю, дай-ка я всё-таки расписание погляжу. Нашла расписание. Вижу: Берлин. Отправление девять сорок пять. А сейчас уже одиннадцать. Ну, и пошла себе назад в общежитие. Вот так, друг любезный. Пошла назад не солоно хлебавши. Иду, слёзы утираю. Эх, думаю... Да я его не виню. Сама виновата. И чего это я размечталась?»

*Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова.*

«Да что это за песня, ни фокстрот, ни танго! Постой, я другую пластинку найду. Маркуша... Дай-ка я сама. Сама всё... Посмотрю на тебя, какой ты есть. Чего это ты стесняешься, как девочка. А ты что думал, даром я тебя, что ль, позвала... Х-ха, ха! Я выпивши, ты не обращай внимания. Я тебе сейчас всё покажу, что и как... Давай, давай. Никто не войдёт, не беспокойся, дай-ка я... У них свои дела. Ну, хочешь, мы свет потушим. Я только сейчас на минутку; ты не смотри. Ну вот, а теперь можно».

## 51. Загадочный разговор в номере гостиницы «Метрополь»

Человек со светлым невыразительным лицом, в серой шляпе, в роскошном плаще из габардина, прошагал мимо кинотеатра «Востоккино», пересёк площадь перед стеной Китай-города и оказался перед другим кинотеатром и входом в отель. Дом мог напомнить ему здания эпохи грюндерства. Два фасада с затейливыми балкончиками выходят на площадь и на Охотный ряд, высоко наверху, под крышей – потемневшие плиточные панно, это уже югенд-стиль: ангелы, демоны, оливковые небеса. Человек вошёл в гостиницу.

Зеркальный лифт вознёс его на шестой этаж. Он направился было к своему номеру. Но передумал, повернул в другой коридор, там нашёл дверь и постучал костяшками пальцев. Ему открыли. Он расстегнул плащ, отшвырнул шляпу и плюхнулся на диван-канapé. *Na wie geht's*<sup>1</sup>, спросил он.

«Завтра уезжаем», – был ответ.

Он рассеянно кивнул.

«Ужасно, – сказала Сузанна Антония. – Мама его разыскала».

«Also?»

«Also nichts.<sup>2</sup> Это молодой парень, студент. Инвалид без ноги. Мама очень разочарована».

«Разочарована, чем?»

«Разговора не получилось».

«Этого надо было ожидать. – Он пожал плечами. – Не понимаю, зачем ей это понадобилось».

«Я тоже не понимаю».

«Надо было её отговорить».

«Это невозможно. Ты же знаешь мою маму».

«Тебе придётся написать отчёт».

«Я знаю».

«Подробный: как и что. Где встретились, и так далее».

«Можешь мне не объяснять. А ему это не повредит?»

«Это отчасти зависит от того, что ты напишешь».

«Он мне понравился», – сказала Сузанна Антония.

«So?»<sup>3</sup>

Человек сбросил плащ, подошёл сзади и обнял её; оба стояли перед зеркалом: элегантный господин в дорогом костюме, превосходно выбритый, с волнистыми русыми волосами, правильными чертами лица, ни дать ни взять – ариец, и высокая длинноногая девушка.

«О! это уже что-то новое», – глядя в зеркало, сказала она.

«Ты так думаешь?»

«Может, не надо?» – спросила она, с любопытством глядя, как пальцы мужчины в зеркале возились с пуговицами, расстегнули и спустили с плеч блузку.

Дальнейшее оказалось затруднительным, и она сама быстро и ловко отколупнула пуговицы бюстгальтера на спине.

Теперь юбка. Оба сидели на диване. Игра продолжалась некоторое время, он привстал и перенёс её ноги в чулках на диван. Соня полулежала. Её куда-то несло, она смотрела и не смотрела, как мужчина медленно провёл ладонями по её ногам от коленок и выше. Но тут что-то случилось.

Упало напряжение тока в сети. И, чтобы сохранить видимость того, что её всё ещё домогаются и она сама решает, быть тому или не быть, – хотя на самом деле от неё уже мало что зависело, – она сбросила ноги с дивана.

«Das reicht!»<sup>4</sup>

Он ничего не ответил; наступила пауза.

«Ты же сам не хочешь».

Прозвучало ли это примирительно или осуждающе?

Человек стоял у окна. Сузанна Антония подумала, что между ними никогда ничего не было и, очевидно, не будет. Она подумала о том, что видеть в женщине исключительно

<sup>1</sup> Что новенького. (нем.)

<sup>2</sup> Ну и как? – Да никак (нем.)

<sup>3</sup> Вот как? (нем.)

<sup>4</sup> Всё, хватит! (нем.)

сексуальный объект – типично буржуазный взгляд. Хотя... когда тобой пренебрегают как женщиной, это тоже обидно. Это даже оскорбительно. Сузанна Антония полагала, что коммунистическое отношение к женщине как к товарищу совместимо с постелью, но её собственный опыт в этой области был невелик и случаен. Она была слишком занята ответственной работой, эта работа не давала ей права уделять много внимания так называемой личной жизни. Следствием была несвойственная ей робость. Она – придётся это признать – мало занималась своей внешностью. Может быть, подумала она, всё дело в том, что она слишком высокого роста. Долговязые девушки не пользуются успехом. В моде славянские девахи или миниатюрные красотки с длинными локонами и высоченным коком, как у Дины Дарбин. Она поспешно убрала с глаз подальше свой крошечный бюстгальтер, сунула в шкаф скомканную блузку – белый флаг сдачи на милость победителя, который, однако, не пожелал воспользоваться капитуляцией. Плотно запахла в домашний халатик и завязала пояс.

Она спросила себя, – конечно, в шутку, ибо стеснялась недостойных мыслей, – спросила: а если бы дело дошло до логического конца, если бы она вырвалась, побежала, как бы спасаясь, в спальню. В конце концов мы взрослые люди – какую позу предпочёл бы этот Гарри в постели, захотел бы сверху или снизу? Между ними никогда ничего не было. А могло бы быть.

Человек по имени Гарри, – хотя, возможно, его звали иначе, – не уходил, габардиновый плащ, одежда дипломатов и ответственных работников, свесился со стула на пол.

«Я тоже отправляюсь, – сказал он. – На той неделе».

«Дела?»

Он вздохнул, провёл рукой по волосам. Кивнул, но не ей в ответ, а своим мыслям.

«Они там намерены провозгласить своё государство. Все три зоны вместе».

«Когда?»

«Месяца через три. Теперь наш ход».

«Ты думаешь, восточная зона тоже будет...?»

«Это дело, собственно, давно решённое».

«А ты?»

«Что – я?»

«Я хочу сказать, твоё положение как-нибудь изменится?»

«Не слишком. Буду заниматься тем же самым».

«Оперативной работой», – заметила она полувопросительно, взглянув на него мельком, и почувствовала, что вялый разговор упёрся во что-то другое.

## 52. Гостиница, продолжение

«Должен тебе сказать, – проговорил он, глядя в окно, – у меня совсем не этим голова занята».

«То есть... э? А чем же?» – спросила она, несколько сбита с толку.

Он снова сел на диван, поднял с пола шляпу и стал рассеянно чистить её рукавом.

«Не хочется уезжать?»

«Если начистоту, – человек усмехнулся, – нет, не хочется».

«Ну, это понятно, – возразила она. – Я и сама...»

«Да, конечно... Но, видишь ли, дело в том, что у меня...»

Прежде чем он договорил, инстинкт мгновенно подсказал Соне Вицорек его ответ.

«Это, конечно, сугубо между нами. У меня тут появилось одно знакомство».

Так и есть, женщина, как же иначе. Сузанна Антония испытала смесь стыда, лёгкого презрения и злости. Ach was,<sup>1</sup> равнодушно возразила она, чтобы что-нибудь сказать.

«...довольно странное».

«Деловое?»

«О, нет. – Снова летучая усмешка. – Совсем даже не деловое».

«Eine russische Liebschaft?»

«В этом роде. Ein Flittchen».<sup>2</sup>

«Вот как!» – подняв брови, сказала Соня Вицорек.

«Боюсь, буду по ней скучать».

«И давно?»

«Давно ли я с ней знаком? Да уже месяца два».

«Если не секрет, – спросила Соня, – где ты её подцепил?»

«Да нигде. Здесь, недалеко от отеля».

«Кто она такая?»

Он пожал плечами. «Я тебе уже сказал. Живёт в рабочем общежитии. Что-то есть в ней такое. Жалкое, что ли».

«Это тебя и привлекло?»

«Может быть. – Подумал и сказал: – Не только. Пожалуй, ещё что-то. Я увидел её как-то раз. Потом снова увидел. Ты будешь смеяться, но мне показалось, что это та самая женщина...»

«Frau meiner Träume».<sup>3</sup>

«Meinetwegen».<sup>4</sup>

«Которой тебе не хватает?»

«Можно сказать и так».

«Это всегда так кажется. Извини... Сколько же ей лет?»

«Не знаю. Лет двадцать – может, чуть больше. Может быть, двадцать пять».

«Наверное, все тридцать».

«О, нет».

«Красивая?»

Он поджал губы, покачал головой.

«Ты, конечно, не сказал ей, что уезжаешь?» – заметила Сузанна Антония, уже не испытывая ничего, кроме досады. Своего будущего мужа она представляла себе товарищем по общему делу, по партии, преданным, чуждым всякой сентиментальности, высоким – примерно такого роста, как Гарри. Но не исключено, что её избранник будет русским. Конечно, он будет русским. Это совсем другой народ, не то что немцы. Будут ли они жить в Москве? Или в демократическом Берлине?

«Ты ей сказал?»

«Ещё нет», – сказал человек у окна.

«И не надо говорить».

«Это будет unfair».<sup>5</sup>

«С твоей работой... Не хватает только, чтобы её ты потащил с собой».

«Да. Не хватает».

«Это всё равно невозможно».

---

<sup>1</sup> Ах вот как. (нем.)

<sup>2</sup> Интрижка с русской? – С уличной девочкой (нем.)

<sup>3</sup> Девушка моей мечты (фильм с Марикой Рёкк). (нем.)

<sup>4</sup> Если угодно, да. (нем.)

<sup>5</sup> некрасиво (нем.)

«Doch, <sup>1</sup> – сказал он, – всё возможно».

«Что ты там с ней будешь делать? Извини меня, – пробормотала Соня, – раз уж ты сам рассказал. Я хочу тебя спросить...»

«Спрашивай».

То, что произошло здесь в номере между ними полчаса тому назад, – вернее, то, что *не* произошло, – даёт ей право... Она почувствовала жгучее любопытство.

«Извини, – сказала она снова. – Вы, конечно, уже?...»

Человек слегка развёл руками.

«Ну и как она... на твой взгляд?»

Он возразил:

«Я понимаю, это может тебя задеть».

«Меня? Нисколько!»

«Ты спрашиваешь, какова она... im Einsatz sozusagen. <sup>2</sup> – Он светло взглянул на Соню. – Großartig. Besser kann's nicht sein». <sup>3</sup>

«Понятно», – закусив губу, промолвила Соня Вицорек.

Человек закрыл глаза.

«Видишь ли... – проговорил он, глядя в окно, и можно было подумать, что если бы она сейчас вышла из комнаты, он продолжал бы говорить, он бы не заметил. – Я человек, не склонный к мистике... В ней что-то есть. Я понимаю, что каждый в таких случаях говорит о женщине: в ней что-то есть... Если бы дело происходило лет триста или четыреста тому назад, я бы сказал, что это ведьма!»

Он рассмеялся, бросил взгляд на Соню, но смотрел сквозь неё.

«Очаровательная ведьма. Нет, конечно. Она очень простая, добрая и искренняя девочка».

Ей хотелось задавать всё новые вопросы, только о чём?

«Она хорошенькая?»

«Ты уже спрашивала, – он смеялся, он, по-видимому, был счастлив. – Нет, хорошенькой её не назовёшь. В том-то и дело. Я ещё не встречал женщину, которая обладала бы такой магией. Что ты на это скажешь?»

«Скажу, что рехнулся».

«Я думаю, – проговорил он, – я на ней женюсь».

«Ого».

«Вот тебе и ого. Отчёт напишешь сразу по приезде», – сказал Гарри.

## 53. Враги

Юрий Иванов, в трусах и майке, расставив ногу и протез, обеими руками сжимая рукоятку меча, стоял посреди комнаты с окном, выходящим во двор, в высоком старом доме на улице Веснина возле Смоленской площади, куда ещё до войны они переехали из другого дома. Тот, прежний дом был больше, монументальней, вообще был особенный дом, хоть и не такой знаменитый, как дом на набережной за Большим Каменным мостом, но тоже населённый непростыми жильцами: со своим детским садом, прачечными, распределителем дефицитных продуктов, с комендатурой и вооружёнными вахтёрами; само собой, и жили там не в коммуналках, а в отдельных многокомнатных квартирах. К числу новинок и достопримечательностей принадлежал грузовой лифт для спуска мусора. Лифт открывался прямо на кухню. Это было

---

<sup>1</sup> Отчего же

<sup>2</sup> так сказать, в деле.

<sup>3</sup> Изумительно. Лучше не бывает (нем.)

чрезвычайно удобно. Семеро в форме, в ремнях, в сопровождении коменданта, стараясь не скрипеть сапогами и не вызывая обычный пассажирский лифт, дабы не тревожить соседей, – многие, впрочем, и так не спали, это была эпоха бессонниц, – выскочили из грузового лифта, выставив перед собой пистолеты и карманные фонари. Отец Юры вышел навстречу, заслонясь рукой от слепящего света, он тоже не спал. Они торопились, обыск был произведён кое-как. Дом с вахтёрами в скором времени пришлось покинуть, и этим, как ни странно, всё ограничилось. Об отце – он получил десять лет без права переписки – было известно, что он работает на секретной стройке оборонного значения, в Сибири или на Дальнем Востоке, и так продолжалось всю войну. До окончания срока оставалось два года, после чего полагалась ссылка, но ещё раньше ходили слухи о том, что после войны будут выпускать, и мать Юры Иванова очень надеялась, кто-то «там» ей будто бы даже пообещал. Пока некая более высокая инстанция не сообщила, устно и сугубо конфиденциально, – разговор происходил в кабинете, но о главном было сказано в коридоре. Отец не работал на Дальнем Востоке, он вообще нигде не работал и не уезжал. Он был расстрелян на другой день после приговора, через шесть недель после ареста. А как же все извещения, справки, которые она получала? Высокая инстанция пожалала плечами. Юра демобилизовался, как уже говорилось, весной 1945 года. К этому времени они давно уже проживали на улице Веснина.

Осталась мать (втайне гордая своим дворянским происхождением), осталась библиотека, никому не нужные книжки в выцветших картонных обложках. Удивительным образом не был изъят и этот грозный сувенир, меч умершего воителя, привезённый отцом из Синцзяна. И это при том, что первый вопрос, заданный отцу, когда они выскочили из лифта, был: есть ли в квартире оружие? Сдать! Он вынул из письменного стола свой браунинг. Меч украшал настенный ковёр в кабинете. Может быть, оттого, что меч висел на виду, он не привлек внимания. Отец махал мечом по утрам. Меч был тяжёлый, слегка изогнутый, с длинной костяной ручкой, и хранился в кожаных ножнах. Юрий Иванов поднял меч над головой, слегка потряс им, проверяя устойчивость позы, и сделал несколько резких движений по определённой системе, вправо, влево, вперёд и вверх. Крутя меч над головой, повернулся, что было труднее всего; размахнулся, примерился, издал, как делал отец, пронзительный гортанный звук, и р-раз, ударил, разрубив врага от плеча до паха; после чего, хромая, подошёл к письменному столу и положил меч на стол. Там лежали ножны и оставленное матерью письмо.

Он взглянул на конверт, письмо было без обратного адреса, обыкновенная марка. Он вышел в коридор и оттуда на кухню. В квартире проживало четыре семьи, после смерти бабушки у него и у матери было по комнате в разных концах коридора. Мать была на работе. Иванов вернулся в комнату, где, кроме обыкновенных вещей, кушетки, стола, этажерки, помещался стеллаж с литературой о революционном движении в Китае. Иванов расчистил место на столе для чайника. Он уселся и надорвал конверт.

Он вертел в руках письмо, двойной листок необыкновенно белой, плотной бумаги с именем корреспондентки, короной и гербом: бык, низко склонивший вилообразные рога. Аккуратный и чёткий почерк. Восточный Берлин, такое-то число. *Sehr geehrter...* Потянувшись, снял с полки словарь, но словарь был Юре в общем-то не нужен.

Да и письмо, к чему оно? Что ещё она собиралась ему объяснить?

*Sehr geehrter, lieber Herr Iwanow!*<sup>1</sup>

Довольно-таки церемонное обращение.

*Nach langem Zögern...* Я долгое время колебалась, прежде чем решилась снова напомнить Вам о себе. Разрешите мне ещё раз поблагодарить Вас за...

Опять эта дипломатия. Вместо того, чтобы прямо сказать, чего она от него хочет.

---

<sup>1</sup> Дорогой, многоуважаемый г-н Иванов (нем.).

Но она ничего не хотела.

*Думаю, что Вы не удивитесь, если я скажу, что наша встреча произвела на меня большое впечатление. Наш разговор не выходит у меня из головы.*

*Кажется, я рассказывала Вам о том, как мне удалось Вас разыскать, несмотря на то, что, по сведениям, которые мой бывший муж получил из архива бывшего Министерства обороны, судно, на котором Вы находились, было уничтожено. Но, вопреки этому сообщению, оказалось, что кто-то из экипажа остался жив. Не могу Вам описать, как я была рада, когда узнала об этом!*

Нашла чему радоваться.

*Все эти подробности сейчас уже не имеют значения. Скажу только одно: вся история моих поисков кажется мне чудесным, почти неправдоподобным сцеплением обстоятельств, и то, что они увенчались успехом...*

Какой успех, с растущим раздражением думал Юра Иванов, что она несёт?

*...и то, что они увенчались успехом, что мне удалось с Вами встретиться и убедиться, что Вы существуете на самом деле, то, что я Вас нашла, а Вы, если можно так выразиться, нашли меня, – представляется мне знаком судьбы.*

*И вот теперь Вы спросите: что я ещё хочу узнать или услышать от Вас, так ли уж необходимо продолжать это знакомство, тем более, что мы живём в разных государствах и новая встреча сопряжена с известными трудностями.*

Вот именно, сказал вслух Иванов. Так ли уж необходимо. Он разговаривал сам с собой, сидя на кушетке, отстёгнул ремень и снял протез, чтобы дать отдохнуть культю. Запрыгал по комнате, – в углу стояли костыли, – снова с брезгливой миной взял со стола листок. Из окна был виден колодец двора, верёвки с бельём, арка подворотни. Эта женщина явилась из прошлого, и о чём ещё говорить – спаслась и пусть будет довольна.

Было и бельём поросло. Так нет же, ей понадобилось напоминать, как будто он и так не помнит. Прошло уже сколько времени после этой нелепой встречи, а она всё не может утомониться. Тягостный и никчемный разговор в ресторане, в роскошной гостинице для иностранцев, куда нашего брата на порог не пустят; вообще не надо было соглашаться. О чем она там бубнила? Ведь он же объяснил этим двум дурам: знали или не знали, что это за пароход, допустим, что знали, ну и что. Подошли ближе и увидели чёрную массу на палубах. Санитарный крест на трубе, несмотря на плохую видимость, тоже заметили. Знали, что из портов, которых немцам ещё удавалось удерживать, из Эльбинга, из Пиллау, из Розенбурга идёт эвакуация? Знали, ну и что?! А что они делали с нами. Война! Враг есть враг. И приказ есть приказ. Топить всех подряд, и никаких разговоров.

Мне кажется, что я не сказала Вам и десятой части того, что хотела, что должна была сказать. По крайней мере, теперь это для меня стало ясно. Как ни странно, – но, может быть, это и Вам знакомо, – первые месяцы я совершенно не думала о случившемся. Я вернулась в родные места, где всё было сожжено и разрушено. Каждый день приходили новости одна другой ужасней. Рушились города. Мы узнали о гибели Дрездена. Там жили мои друзья, это был изумительной красоты город. То, что там произошло, никто и никогда не сможет описать, человеческое сознание неспособно вместить это... О том, что произошло со мной, с каждым из нас, мы уже и не вспоминали, думали только о том, как бы выжить. Не было ни будущего, ни прошлого, жили одним днём. Сузи вызвала меня к себе...

## 54. Взмахнуть, и...

В дверь постучались, мать заглянула в комнату.

«Ты?» – сказал он удивлённо.

«Я забежала на минутку. Ты завтракал?»

«Ещё нет».

«Ну, и хорошо. Я тут кое-что принесла».

«Не беспокойся», – сказал Юра.

Она спросила: не опоздает ли он на лекции? Юра Иванов ответил, что времени ещё много. Мать присела на край кушетки. «Мне кажется, ты последнее время какой-то не такой».

«Обыкновенный», – сказал он.

«Что-нибудь случилось?»

Он пожал плечами.

«Что это за письмо?»

«Да так... от одной».

«От этой девушки? Ты совсем ничего не рассказываешь... Она тебе нравится? Почему ты не пригласишь её к нам?»

«Мать, – сказал Иванов. – Тебе пора на работу».

Он читал дальше.

Мы давно уже понимали, что война проиграна, но этот изверг хотел, чтобы вся страна, все немцы погибли вместе с ним. Наконец, мы услышали по радио, что он пал в Берлине. Ходили разные слухи, говорили, что он принял яд вместе с Евой или что он бежал. Я знаю людей, которые до сих пор считают, что он скрывается в Южной Америке, меня это совершенно не интересует. Как Вы знаете, я оказалась, благодаря Сузи, в восточной зоне. Жизнь более или менее наладилась. Но я не хочу отвлекаться, хочу сказать вот что. Первое время я ни о чём не думала. Но однажды ночью проснулась, и вдруг всё снова встало перед глазами. Там были ужасные сцены. Когда мы сидели в баркасе, рядом, в темноте из воды высывались головы людей, они были ещё живы, но лодка была переполнена. Мать с ребёнком подняла над водой свою девочку, цеплялась за борт, умоляла взять ребёнка, её оттолкнули. Я всё это видела. Я знаю, Вы думаете, что я считаю Вас виновником, Вас, и Вашего командира, и вообще вас всех. Нет, поверьте, такой мысли у меня нет. И к тому же я знаю, как много страданий мы, немцы, причинили Вашей стране. Я только хочу сказать, что хотя такие, как я, смогли уцелеть, каким-то чудом остались в живых, мы на самом деле умерли вместе с погибшими, утонувшими, сторовшими, с теми, у кого раздавило обломками полтуловища, у кого не осталось ни рук, ни ног, ни глаз, с убитыми на фронтах, задохнувшимся в дыму, – только сперва мы не заметили, что на самом деле умерли вместе с ними. Мы пережили войну, а когда всё кончилось, то оказалось, что мы не в состоянии жить. Поверьте мне, дорогой господин Иванов, я каждую ночь просыпаюсь, не могу понять, где я, война давно кончилась, а мне всё кажется, что я слышу свист и грохот, слышу крики людей, пожарные сирены или плеск воды, но я спокойна, я лежу глубоко на самом дне, и со мной уже ничего не будет, меня уже нельзя ни утопить, ни искалечить.

И вот теперь Вы. Зачем я это пишу. Мне нужно Вас видеть снова. Мне почему-то кажется – я уверена, – что Вы, кому пришлось пережить ещё больше, чем мне, Вы, сын народа, который в конце концов не сам начал войну, а на которого напали, – Вы сможете мне помочь, может быть, даже поможете мне воскреснуть. Я почувствовала это сразу. Мне ничего не нужно от Вас, мы даже не будем вообще говорить о прошлом, мы просто посидим вместе, Вы расскажете мне что-нибудь о себе или о Вашей стране. Умоляю Вас, скажите, что Вы не отвергаете моей просьбы, откликнитесь...

Иванов надел ногу, нацепил на нос пенсне, попробовал пальцем лезвие китайского меча и со свирепым выражением, закусив губу и прищурившись, изо всех сил рубанул мечом воздух.

## 55. Ночь. Университет

Иванов сказал, что звонит по важному делу. Он сказал: «У меня к тебе одно дело».

«Что случилось?»

«Ничего не случилось. Надо поговорить».

«А в чём дело?»

«Немедленно», – сказал он.

«В чём дело?»

«Ни в чём. Нам надо поговорить».

Пауза.

«Когда?» – спросила Ира.

«Сейчас».

«Да, но...»

«Срочно. Одевайся и приезжай».

«Может, ты всё-таки скажешь по телефону».

«По телефону не могу».

«А ты знаешь, сколько сейчас времени?..»

Он упрямо повторил:

«Мне надо. С тобой... Ясно?»

«Ясно. Спокойной ночи».

«За невыполнение приказа...»

«Слушай, я устала. Хочу спать».

«Кто это ложится спать в десять часов».

Она молчала.

«Приезжай, – сказал Иванов. – Ну... пожалуйста».

Видимо, поддал.

Полчаса спустя она вошла в вестибюль, поднялась по ступенькам под арку.

«Ты куда это?» – спросила баба сторожика.

Ира пробормотала: «Я на минутку... забыла книжку».

«Завтра приходи. Утомону на вас нет».

«Я сейчас». Она не стала подниматься по главной лестнице, выскользнув из-под арки, свернула по коридору направо и взбежала на второй этаж по двум маршам полутёмной боковой лестницы. Вышла к балясинам и гипсовым божествам. Жёлтые шары померкли под сводами галереи; пусто, полутемно. Она стоит в недоумении перед балюстрадой.

Ире двадцать два года. Она всё в том же коротком, суженном в талии, теперь уже изрядно поношенном пальто, в шапочке, перешитой из чего-то, в руках безобразная сумка-ридикюль, совершенно ненужная, просто для того, чтобы что-нибудь держать в руках, она вертит её так и сяк. Поглядывает вниз на циферблат над входной аркой и, опершись локтём на выступ колонны, примеряется, чтобы швырнуть сумочку вниз. Ира повзрослела и давно уже не была влюблена в собственное тело. Она думала, что скоро начнёт стареть, а между тем всё ещё ничего не случилось. Когда она услышала голос в трубке, ей показалось, что она давно этого ждала.

Было ясно, что она совершила глупость, приехав. Она побрела к выходу, к короткому маршу, который спускается к площадке перед главной лестницей под статуями. Но остановилась. Стрелки на циферблате внизу застыли. Она двинулась было вниз, снова остановилась, теребя сумочку. Вернулась, медленно зашагала по коридору в другую часть здания; не доходя до исторического факультета, там его и увидела: Юра Иванов не сидел и не стоял, а как-то полулежал, опираясь о подоконник. Она приблизилась, помахивая сумочкой.

Вид был самый безобразный: Иванов разложился. Ноги вот-вот поедут по полу, палка валяется рядом. Иванов моргнул, шлёпнул губами: «Привет!»

«Привет», – возразила она.

Наступило молчание, женщина смотрела на него, как смотрят на неубранное жильё.

«Ну чего, – сказал Иванов, наконец. – Ну, пришла. Ну, и молодец. А в общем-то, – он махнул рукой, – иди спать...»

Снова молчание.

«Как же ты теперь доберёшься домой?» – спросила она.

«Доберусь. Говорю, иди спать. Тут маленьким девочкам делать нечего».

«Где это – тут?»

«Ну...» – он повёл рукой широким неопределённым жестом. Ира наклонилась и подняла палку. Иванов опёрся на палку, привстал, другой рукой держась за подоконник. На всякий случай она спросила:

«У тебя снова... с ногой?»

«С ногой? – сказал он. – С которой?...» Он покачал головой.

«Слушай, зачем ты меня позвал?»

«Кто тебя звал? Никто тебя не звал».

«Ты хотел о чём-то поговорить».

«Поговорить – о, да. Поговорить надо».

«О чём?»

«Вот именно, – сказал Иванов, подняв палец. – Надо решить: о чём?»

Добрались до балюстрады, спустились по лестнице, она держала ветерана под руку.

«Посиди тут, я сейчас».

«Куда?» – грозно спросил Иванов.

Ира – сторожике:

«Мы сейчас уйдём».

Старухе казалось, что она сидит, в валенках и тулупе, спустив ноги с лежанки, в избе, в родной деревне. Ира побежала по коридору, в углу за поворотом висел телефон-автомат.

Никогда в жизни она не пользовалась этим роскошным методом передвижения, ей понадобилось довольно много времени, она стучала кулаком по стальной коробке, перевела кучу пятнадцатикопеечных монет.

«Сейчас приедет», – сказала она, возвращаясь.

«Кто? Никуда не поеду».

Она спросила, где он живёт.

«В Москве».

«Адрес!»

Он подумал и спросил:

«А деньги у тебя есть?»

Когда подъехали к дому, оказалось, что Юра не может вылезти.

«Нализался, земляк, – сказал таксист. – Где воевал?»

Ира пересчитывала бумажки.

«Да ты что. Чтоб я с солдата деньги брал! Давай, тащи его».

## 56. Заговор женщин

Судьба выбирает особых людей. Вы замечали, что судьба всегда выбирает особых людей? Это своего рода судебные исполнители.

Они кажутся случайными, первыми попавшимися – на самом деле это отобранные люди. Девушка остановилась поправить чулок. Она не знает, что уполномочена судьбой. Прохожий... вы даже не успели разглядеть его физиономию. Продавец воздушных шаров перед обелиском революционеров, в Александровском саду. Нищий, занявший свой пост на тротуаре перед оградой Старого здания. Они тоже орудие судьбы. Следователь государственной безопасности в мундире цвета крапивы, с рыбым лицом, с жёлтыми плавниками погон, с эмблемой на рукаве и девизом «Оставь надежду», в ночном кабинете, где, кстати, как раз в эту минуту сидит в углу наш старый знакомый, профессор Сергей Иванович Данцигер, вернее, бывший профессор, сильно потерявший в весе и без кудрей. Судьба выбирает особых людей, участников заговора, не спросив у них; они лишь исполнители некоего веления, но родилось оно, представьте себе, не где-нибудь, а в лабиринтах нашей собственной души. Потому что судьба не то чтобы решает за нас, но подталкивает нас осуществить решение, которое мы приняли, ещё не зная об этом. Ира Игумнова нашла среди беспорядочно наклепленных кнопок на дверном косяке две пуговицы с одной фамилией, нажала один раз, другой; подождав, поднесла снова палец к звонку, послышались шаги. Звякнула цепочка. Высокая белая фигура с тёмными кругами глаз воздвиглась во тьме за полуотворённой половинкой входа. Вдвоём отвели ветерана в его комнату. Помогите мне, сказала мать. Ира, стесняясь, принялась расстёгивать пуговицы, стягивать со спящего одежду, отстегнула жёлтую кожаную ногу в чёрном ботинке. Они осторожно притворили за собой дверь.

«Куда ж вы теперь. Милая. Нет, нет; оставайтесь. Я позвоню. Скажу, что вы ночуете у меня...»

Ира вошла в полутёмную комнату, зелёный матерчатый абажур над столом, шкаф с книгами, разобранная кровать. Сейчас сменю бельё, суетилась мать Юры, вот тут ночная сорочка, полотенце. А вы, спросила Ира. Я на раскладушке, в кухне, у нас соседи хорошие. Было слышно, как она крутит диск телефона в коридоре. Ира осталась одна и, вздохнув, улеглась. Ей снилось, что она летит. Она должна была приземлиться, может быть, врезаться в землю, и открыла глаза. В длинной ночной рубашке она вышла из уборной на кухню, где не было никакой раскладушки, не было никого, пятна слепящего утреннего света лежали на полу, на плите, блестя крышки кастрюль на полках. На табуретке сидела кошка. В квартире стояла мёртвая тишина.

«Кис, кис», – прошептала Ира. Кошка уставилась на неё. Ира сделала шаг навстречу, кошка вскочила на подоконник, оглянулась, «ну, что же ты», – промолвила Ира, кошка прыгнула в открытую форточку, пристроилась на раме и оттуда снова смотрела на Иру.

Упадёшь, сказала Ира, вышла в коридор и подкралась к двери. Юра Иванов лежал на спине, подложив руки под голову. На столе у окна сверкало стальное лезвие. Что это, спросила она.

«Меч».

Ира удивилась: «Настоящий?»

Он пожал плечами, опустил руки.

«Слушай, – сказал он, – ты меня извини».

«А где твоя мама?»

«На работе».

«Ну, мне пора, – сказала Ира. – Пойду оденусь».

В эту минуту она почувствовала, что стоит нагая под рубашкой. Было холодно босым ногам. Ира сложила руки под грудь, обхватила локти ладонями.

«Мне пора», – что-то в этом роде произнесли её губы.

Иванов сказал:

«Постой. Успеешь... – мрачным голосом, как ей показалось. – Мне надо тебе кое-что объяснить».

«Опять?»

«Что – опять?»

«Ты ведь уже собирался со мной поговорить».

«А... ну да. Нет, я серьёзно».

«А вчера было несерьёзно?»

«Вчера тоже было серьёзно».

«Ты, наверное, сегодня никуда не пойдёшь. Я скажу, что ты болен. Тебе надо отлежаться. Завтра поговорим».

«Нет. Сейчас».

«Что за спешка. Ну, говори».

«Это меч, – сказал он. – Ты помнишь у Бедье? Или у кого там».

Она не поняла.

«Роман о Тристане и Изольде. Вообще всю эту историю».

«Ну и что?» – сказала она со страхом.

«Между ними лежал меч».

Оба молчали. Ира улыбнулась.

«Могли порезаться», – сказала она.

«Могли. Дай-ка мне его».

«Слушай, Иванов...» – сказала она, называя его, неизвестно почему, по фамилии.

«Иванов. Дай, говорю».

«Зачем?»

Она взяла со стола меч и поднесла ему.

«Вот, – сказал Иванов. – Лезвием ко мне. Можешь не бояться. А теперь иди сюда... ложись. Ложись, говорю!» – крикнул он.

## 58. Марик Пожарский постигает то, чего он не мог постичь: истину

Кончено, *Schluß*, *finis*, сказал себе Марик Пожарский; оглядываясь на «прошлое», иначе говоря, на эти несколько лет, он находил его смешным, нелепым, стыдным. Марик стоял накануне важного решения. Собственно, решающий момент был уже позади. Ибо самое важное – принять решение; какое именно, вопрос второстепенный. Но, если угодно, то вот вам и ответ: Марик решил переменить свою жизнь. Ближайший смысл этого намерения был «порвать» с Ирой. Покончить раз навсегда с бесплодной, безвыходной, унижительной и смехотворной любовью, с этими метаниями между надеждой (на что?) и разочарованием (в чём?), с вечным ожиданием, бесполезной му-

кой, внезапным счастливым замиранием сердца от какого-нибудь мнимо-многозначительного взгляда и новой неопределённостью, новым отчуждением.

Спросить, наконец, впрямую: да – или нет?

Однажды, представьте себе, он промямлил что-то такое. И получил обескураживающий ответ: «Был бы ты лет на пять старше...» Означало ли это, что она всё-таки находит его достойным внимания, в принципе достойным своей любви, единственное препятствие – проклятые пять лет?.. Проснувшись однажды утром, Марик испытал небывалое чувство лёгкости, пустоты – оказалось, что он освободился. Он так и сказал себе: освободился. И пусть теперь сама жалеет.

Он попытался рассмотреть её подробнее, так сказать, мысленным взором. Оказалось, что у неё коротковатые ноги, тяжеловатые бёдра. Однажды, когда она встала и забыла одёрнуть юбку, образовалась складка между ягодицами – это было ужасно.

Он больше не смотрел в её сторону, не пытался с ней заговорить, с удовлетворением отметил её удивлённый взгляд; и даже под вечер, по привычке слоняясь по коридорам Нового здания, – домой итти, как всегда, не хотелось, – притулившись где-нибудь на подоконнике, пытаясь читать и тут же бросая книжку, и снова расхаживая вдоль темнеющих окон, и возвращаясь на галерею, где уже теплились жёлтые шары, и бормоча стихи, – даже в это не лучшее время дня, когда некуда себя деть, некуда податься, Марик Пожарский вкушал эту опустошённость, для которой существовало другое название – независимость, ощущал себя свободным – мы чуть было не сказали: осиротевшим. Тут он увидел Иру, она поднималась по лестнице. «А, это ты», – сказала она, выходя на галерею, и остановилась.

Марик почувствовал привычное сердцебиение, но тотчас овладел собой; не выдавил из себя ни слова; Ира, как всегда, шла в читалку; и вдруг она остановилась, взглянула себе под ноги, закусил губу. Марик догадался, вернее, почувствовал инстинктом бывшего влюблённого: случилось нечто; она подняла глаза с таким видом, словно что-то обронила по дороге и спохватилась сейчас; знаешь, проговорила она неуверенно, хорошо, что я тебя встретила, я как раз хотела тебе сказать.

«Сказать?.. Что сказать?» – пролепетал Марик, мгновенно забыв о своём решении. Да, кивнула она, сказать тебе кое-что. И какой-то ветер овеял Марика. Счастливое предчувствие! Ира, вместо того, чтобы исчезнуть за дверью библиотеки (куда он, по установившемуся этикету, не посмел бы последовать за ней), медлила, рылась в портфеле.

Она подняла голову и осмотрелась. «Надо бы где-нибудь присесть. Я даже не знаю... – и было неясно, ищет ли она местечко или то, что потеряла по дороге. Подошли к скамейке перед Русским кабинетом. – Нет, – пробормотала она. – Куда-нибудь подальше».

Обошли кругом галерею и свернули в коридор. Шли мимо высоких темноватых окон, потом налево. Там (как уже говорилось) был расположен исторический факультет, знаменитый тем, что на нем училась дочь Вождя. Легенда казалась странной, естественней было предположить, что факультет сам, со всеми профессорами ездил к этой дочери в Кремль или где она обреталась. Легенда казалась тем более неправдоподобной, что никто никогда не слышал о том, что у Вождя есть собственные дети, ведь это значило бы, что у него есть – или были – женщины. Вождь, в монументальных брюках с красными лампасами, в широких, как доски, погонах генералиссимуса, с литыми усами, с мужественным, гневно-радостным взором, бесспорно, не был бесполым существом; Вождь был *над*полым существом.

«Не знаю...» – сказала Ира. Что она имела в виду? Они вернулись в «свой» коридор и устроились на подоконнике. Её портфель был прислонён к холодной трубе отопления.

«Я думаю... – проговорила она. – Мы ведь всё-таки друзья?»

«Ну да», – сказал Марик упавшим голосом, поняв, что её мысли *совсем не о том*.

«Я подумала, что должна тебе сказать... это касается всех нас троих».

«Троих?»

«Ну да. Мы все как закупоренные. Ничего не можем друг другу сказать. Ты мне не можешь сказать, он мне не может сказать».

Ира взглянула искоса на него, словно хотела удостовериться, стоит ли продолжать. Или как будто замятовала, что собиралась сказать. Её глаза прошлись по стенам, взгляд остановился ни на чём. Ира смотрела внутрь себя, и что же она видела? Всё то же: комнату и китайский меч рядом с лежащим на спине.

«Короче говоря, – сказала она, – у нас это было».

«У нас... у кого?»

«У меня с Юркой». Она опустила голову, тотчас подняла и остро взглянула на Марика.

На всякий случай он переспросил:

«Было?»

«Да».

Марик понял, о чём идёт речь, но продолжал спрашивать: что, что было?

«Ну что ты, маленький, что ли, – сказала она холодно. – Что бывает?»

Она прибавила:

«Он взрослый мужчина».

Видимо, это означало: в отличие от тебя. Марик сощурился, глядя в одну точку, напряжённо думал, только непонятно, о чём. Дикая мысль пришла ему в голову.

«А ты? – спросил он. – У тебя уже был кто-нибудь?»

Ира покачала головой, еле заметно. Женским усталым жестом коснулась волос, сошла с подоконника, одёрнула платье, застегнула пальто.

«Ну чего ты, – сказала она. – Огорчился? – Они остановились на крыльце университета. За оградой, мимо Манежа, шурша, неслись машины, их было немного, совсем не так, как двадцать лет спустя, было темно, и малиновые, как леденцы, звёзды с невидимых башен всё ещё, как ни в чём не бывало, вещали баснословное будущее. Они двинулись к воротам, надо было ещё что-то произнести. – Ну, хочешь, прочти стихи».

«Чего? – спросил Марик, очнувшись. – Какие стихи», – с горечью сказал он.

Она возразила, пожав плечами:

«На это надо смотреть проще. Это у всех бывает. Рано или поздно... И у тебя будет. – Она улыбнулась. – Будешь потом вспоминать».

Как будто доподлинно знала, не сомневалась, что с ним это ещё не произошло.

Ему захотелось сказать, огорошить её: а вот, если хочешь знать – у меня тоже была.

«А я и смотрю проще. Мне-то что», – буркнул он.

«Ну что ж. – Они молча стояли перед воротами. – Если ты не очень сердисься... проводи меня».

И больше, кажется, не было сказано ни слова, Ира шагала, глядя прямо перед собой, помахивая портфелем, Марик о чём-то раздумывал и в конце концов понял, что в его жизни совершился поворот. Никто не мог предполагать – и меньше всего сам Марик Пожарский, – что внешним знаком этого поворота станет нелепый поступок, необъяснимая выходка; он только почувствовал, что надо что-то сделать, совершить что-нибудь такое, из ряда вон. Марик возненавидел всю жизнь, испытав при этом дикую радость.

На другой день, едва только он проснулся, его осенила идея. Всё стало на свои места, и теперь он лишь с трудом сдерживал нетерпение. Утром, как всегда, была лек-

ция для всего курса, он сидел на балконе Коммунистической аудитории, у стены в углу, Ира где-то неподалёку – и прилежно записывала; Юра Иванов не явился; Марик явно не слушал, был чем-то занят. Прозвенел звонок; когда Ира вернулась на балкон, оказалось, что Марик просидел весь перерыв на своём месте.

Всё было готово, он поглядывал на большие часы внизу. Кто-то бубнил, сидя на эстраде за профессорским столом, перед профессорским чаем в стакане с подстаканником, это был доцент Капустин. Прошёл, кажется, уже целый час, но стрелка за это время передвинулась всего на каких-нибудь двадцать минут. Наконец, она достигла последней четверти. Пять минут до звонка. Марик расстегнул свой портфель. Марик никогда не ходил на занятия с портфелем. Он не имел привычки записывать лекции, у него были только тетрадки для занятий языками. Марик ничего не знал, ничему не учился, читал что хотел, а не то, что полагалось, учебники раскрывал только во время экзаменационной сессии, кое-как тащился с курса на курс, числился посредственным, но одновременно и продвинутым студентом, языки были единственное, в чём он успевал, и притом далеко обгоняя других. Марик явился с портфелем, и внимательный взгляд Иры Игумновой отметил эту новость.

Наконец, звонок прорвался, зазвенел в барабанных перепонках, народ внизу зашевелился, захлопали крышки пюпитров, доцент Капустин собирал свои листки на столике. Марик расстегнул набитый битком портфель. Он перевернул портфель, и оттуда посыпались аккуратно нарезанные четвертушки бумаги, десятки, может быть, сотни листовок. Всё это разлетелось над амфитеатром, порхая, опускалось на скамьи, на головы, несколько бумажек упали на сцену, кто-то свистнул в два пальца, началась весёлая паника, девушки и ребята протягивали руки к белым порхающим листкам, на всех бумажках стоял один и тот же подрывной, подстрекательский лозунг, была начертана единственная фраза: *Ну и х... с вами!*

## Эпикриз

### Субмарина уходит в пучину морей

Per me si va nella città dolente,  
Per me si va nell'eterno dolore,  
Per me si va tra la perduta gente.

Inf., III, 1–3<sup>1</sup>

Некогда я бродил по улицам, где из десяти встречных девять были старше меня. Сейчас из десяти едва нашёлся бы один, достигший моего возраста. Приняв предложение литературного журнала участвовать в конференции «Искусство в поисках новой идеологии», я уступил соблазну, которому успешно сопротивлялся добрых десять лет – с тех пор, как открылись границы. Начать с того, что меня удерживал самый обыкновенный страх. Совершенно согласен с каждым, кто назовет это суеверием. Я знал, что моё дело с грифом *Хранить вечно* ждёт своего часа в катакомбах гигантского архивохранилища, потому что дела эти не только хранятся, но и никогда не закрываются, и живо представлял себе, как где-нибудь в самом оживлённом месте, на улице Горького, которая снова стала Тверской, автомобиль с тёмными стёклами остановится

<sup>1</sup> Я увожу к отверженным селеньям,  
Я увожу сквозь вековечный стон,  
Я увожу к погибшим поколениям.

(Данте, «Ад», песнь III, ст.1–3. Перевод М.Лозинского)

у тротуара, вежливый голос окликнет меня по имени и отчеству, цепкие руки втащут в машину, и через десять минут мы окажемся там, где мне пришлось побывать когда-то. Я даже допускаю, что за истекшие двадцать лет – с тех пор, как я бежал из России, – пухлая папка стала ещё толще. Такие коллекции обладают способностью к самостоятельному росту и обогащению. И никто не знает, какими новыми инструкциями оснастилась канцелярия, пережившая всё и всех. Словом, говорил я себе, лучше туда не соваться. И всё же приехал.

Я стоял в зале с низким потолком, с диковинными рекламами на стенах, в одной из трёх или четырёх очередей, правильной будет сказать – в одной из трёх толп. Люди перебегали из одной толпы в другую, экономя время с ловкостью и чутьем завсегдатаев очередей, так что в конце концов я оказался последним. Люди переговаривались на языке, в котором мне было внятно каждое слово и где я не понимал ни слова. То было чувство нереальности, которая вот-вот должна была стать зловещей и необратимой действительностью; состояние, о котором говорит тюрингский романтик: если во сне мы видим сон, это значит, что ещё немного и мы проснёмся.

То было переживание языка – давно умолкнувшего, ставшего сакральным, подобно мёртвому языку священных книг, но который заговорил вокруг десятками уст и оказался жаргоном черни. Замечу, что таким же или почти таким, разве только с обратным знаком, было переживание живого английского языка, много лет тому назад, когда я приземлился в Соединённых Штатах. Точно так же я понимал его, ничего не понимая. Поистине, чтобы ощутить нечто подобное, надо было прожить безвылазно жизнь в стране, похожей на дом с закрытыми ставнями, за глухим забором.

Люди о чём-то совещались, смеялись, бранились, не стесняясь соседей, мешая обыкновенные слова с грязной руганью, которая, однако, выговаривалась, как обычные слова: матерная брань, лишённая эмоций, как кофе без кофеина. Затеплились матовые кубы над кабинами паспортного контроля, толпа заколыхалась. Каждый миг в самолёте над океаном поглощал огромные расстояния; здесь уходило десять минут на то, чтобы переместить чемодан на полметра, шаг за шагом, навстречу решающему мгновению, когда женщина-офицер в форменном галстуке, за стеклом кабины, поднесет к уху телефонную трубку и, глядя в мой паспорт, вполголоса произнесёт несколько слов. Появятся двое и попросят «пройти».

Вместо этого, пристально поглядев на меня, поразмыслив, она хлопнула штемпелем, несколько времени спустя путешественник вышел в город, над которым сеялся дождь, и, усевшись в такси, назвал адрес по-русски, чего делать не следовало. Мне казалось, если я дам понять, что я здешний, меня не станут беззастенчиво обирать, как принято поступать с иностранцами; получилось хуже: меня, похоже, приняли за одного из этих нуворишей, *New Russians*<sup>1</sup>. Сомнительное сословие, вымахнувшее изпод земли, как красавцы-мухоморы после тёплого дождя. Город летел навстречу, и я все еще не мог избавиться от чувства, которое должен испытывать человек, стоящий на разводном мосту: одна нога здесь, другая там, а внизу – вода. Но хватит об этом. Я прослушал положенное число докладов на нелепую тему, конференция была для меня, как легко догадаться, не более чем предлогом. Должен, однако, добавить к сказанному выше: мое намерение совершить паломничество на бывшую родину не было свободно от некоторой задней мысли. Каждый писатель ощущает себя более или менее лазутчиком. Если уж начистоту – ради этого я и отправился в путешествие. Я собирался написать роман.

Здесь, возможно, не будет лишним вкратце сказать о моих литературных амбициях. Я сознательно употребляю слово «амбиции» вместо того, чтобы говорить о достижениях. Никакими особыми достижениями мы, увы, похвастаться не можем. Два десятка повестей и рассказов из времён, которые нынешней молодёжи кажутся

---

<sup>1</sup> новых русских (англ.).

эпохой Среднего Царства, несколько статей, назовём их для пущей важности модным словом «эссе», – что ещё удалось опубликовать там, где, как говорили в старину, обретается «наш читатель»? В том-то и дело, что читателей раз-два и обчёлся. Можно указать причины, по которым мои творения не пользуются и, очевидно, не будут пользоваться успехом. Во-первых, они делят общую судьбу литературы. (Я имею в виду литературу, которая заслуживает этого названия). Публика, готовая тратить время и деньги на чтение серьёзных книг (а кто из нас согласится признать свои писания несерьёзными?), тает, как весенний снег. Во-вторых, – это уже мое личное дело, – я ненавижу так называемую актуальность. Оставим её газетчикам.

Сформулируем так: известность NN – лучшая, какую можно вообразить. Известность в весьма тесном кругу не щедрых на похвалы ценителей. В тот счастливый для него день, когда он покинет мир, журналисты, может быть, спохватятся, почуввав поживу. Но будет уже поздно. Невозможно будет брать у него интервью, чтобы наскоро тиснуть в воскресном приложении, невозможно будет строчить чепуху в газетах, чтобы завтра забыть его имя, теперь уже навсегда, невозможно будет перемолоть его на жерновах прессы и телевидения, чтобы ссыпать затем в мусорное ведро.

**Итак**, я воспользовался возможностью, сбежав с конференции, побродить по городу, который некогда – отчего не сказать об этом? – так любил. Который не променял бы – так мне казалось – ни на какой другой город в мире. Не берусь судить, хороши или плохи новейшие архитектурные преобразования, скажу только, что мне жаль пустоты и простора Манежной площади, расстилавшейся перед глазами, когда, бывало, выходишь из университетских ворот. Говорю, разумеется, о старом университете в зданиях по обе стороны от бывшей – теперь уже бывшей – улицы Герцена. Циклопический дворец на Ленинских горах, воздвигнутый заключёнными, моему сердцу ничего не говорит.

Я поднялся на филологический факультет, но никакого факультета не оказалось. В коридорах, в холле, где когда-то висела – может быть, я последний, кто её помнит! – стенная газета с фотографией славного Былинкина (*и куда ты ни пойдёшь...*), расположился новый хозяин, какая-то фирма, и уже нельзя было войти просто так: на площадке перед входом стоял охранник из отряда приматов. Он спросил, кто я такой. Я не мог ничего ответить. Откуда я знаю, кто я такой?

Не было больше и трамвая, который ходил в былые времена от Никитских ворот, звенел, сыпал искрами, поворачивал направо, шёл мимо университетской ограды и Горьковской библиотеки, мимо приёмной бабушки Калинина, – спросите сейчас кого-нибудь: кто такой был этот дедушка? И дальше, мимо Библиотеки Ленина, устья улицы Фрунзе и по Большому Каменному мосту в Замоскворечье. Липы вдоль тротуара перед Новым зданием исчезли, зато разрослись деревья за оградой и скрывают нового Ломоносова. Теперь отец русской науки сидит. Прежде стоял, положив руку на глобус, другой рукой сжимая упёртую в бедро подзорную трубу, которую издали можно было принять за детородный член. Бывший студенческий клуб, с которым так много связано, более не существует, над полукруглым фронтоном сияет восьмиконечный крест, ниже надпись золотом: *Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ*. Что она означает?

Я позвонил старой даме и договорился о встрече.

Перехожу к главной теме моего рассказа. Ветхий дом на Арбате, визг и скрежет канатов, потащивших наверх шаткую кабину лифта. Увядшая женщина с крашеными волосами, в туго подпоясанном дождевике и всё ещё модных здесь сапогах с копытообразными каблучками отворила дверь гостю, чтобы тотчас попрощаться; это была

дочь. Неся букет, как посол – верительные грамоты, я прошествовал по коридору коммунальной квартиры и вступил в комнату, разделённую пополам занавесом на деревянных кольцах.

Голос из-за портьеры: «Одну секундочку!»

«Простите, что заставила вас ждать, – сказала хозяйка, выходя, хотя ждать пришлось недолго. – О! – воскликнула она кислым голосом, – какие чудные розы!..»

Старость начинается не тогда, когда седеют волосы и опускаются углы рта, тускнеет блеск глаз и угасает вождение; старость начинается, когда постигаешь, и не умом, а всем телом, что ты не бессмертен. Полагаю, нет необходимости описывать внешность той, что предстала передо мною в это позднее утро, в предпоследний год страшного дотлевающего столетия; да я и не сумел бы нарисовать её портрет, хоть и числюсь писателем, – разве только по свежим следам, воротившись в гостиницу; но я и этого не сделал, лишь наскоро, стараясь не упустить главное, занёс на бумагу наш разговор. Мы уселись друг против друга, и она спросила, надолго ли я приехал. Что за конференция?

Я объяснил, что обсуждается новая идеология.

«Новая?»

«Ну да. Взамен старой».

«И какая же это новая идеология?»

«Идеология разбитого корыта». Таковы были первые, совершенно ненужные реплики, которыми мы обменялись.

**Я не могу** её описать хотя бы потому, что и в первый, и в последующие два визита (срок моей визы истекал, я должен был торопиться), чем дальше, тем всё настойчивей, за чертами изжёванной жизнью женщины проступал образ той, прежней, которую знал я когда-то. Как если бы он возник в темном трюмо в углу комнаты и постепенно светлел, и рос, и, наконец, выступил из рамы; как будто привидение неслышно вошло и мягко отстранило реальную Иру. Ибо память – кто это сказал? – память ревнива и не терпит соперничества. Звук голоса, тень улыбки, манера встряхивать головой, даже то, что она время от времени поглядывала в зеркало в углу, чтобы поправить воротничок или седую прядь, – во всё этом было так много тогдашнего, несомненного, что постепенно меня перестало смущать то, что ошеломило в первую минуту, и расщелина времени уже не казалась такой бездонной.

Мы и не старались в нее заглядывать. Не было никакого желания рассказывать о себе, да и она не проявляла интереса к моей жизни; мы могли говорить только о том, что было общим для нас, было нашей жизнью, остальное не существовало; но, хотя она знала о том, чем я занимаюсь, – лучше сказать, пробавляюсь, – и, может быть, даже читала кое-что, ей, по-видимому, не приходило в голову, что гость явился из небытия с небескорыстной целью, и уж тем более она не могла догадаться, что предназначена стать героиней моего будущего шедевра.

«Да... – пробормотала она, – сколько времени протекло».

«Тысяча лет, а?»

«Тысяча лет».

Мы сидели и кивали друг другу, и было выдавлено ещё две-три фразы в этом же духе, словно мы не знали, с чего начать, и тут, сам не знаю почему, я нарушил конвенцию; но разве то, что я произнёс, не было трещиной века, разве не было оно частью нашей жизни? Или, по крайней мере, её эпилогом. Я спросил Ирину Самсоновну: как она отнеслась к смерти Вождя?

Она пожала плечами, вопрос показался был в самом деле ни к селу ни к городу. Тем более неуместно было начинать с него беседу. Вопрос заставил ее задуматься. Мы

сидели за чаем. Украшением стола был замечательный румяный пирог, который она испекла к моему приходу.

«Это сейчас можно смеяться, – сказала она, – а мы тогда плакали. Я в это время уже преподавала в школе, у нас был митинг... Все плакали, и девочки, и учителя. У всех было такое чувство, как будто обрушился потолок. Или как будто произошло затмение солнца»

«Затмение?»

«Да; только не на время, а навсегда. Мало того, что мы все осиротели. Я могу сказать о себе – это было не только ужасное горе, – меня охватил страх. Я ещё была совсем молодая, только успела выскочить замуж».

«Замуж... а, ну да. Конечно».

«Люди старше меня, все были в ужасе, думали, что всё повалится, генералы начнут драться между собой за власть, нападут американцы, Бог знает что. Ждали всего».

«Но ведь...» – сказал гость и осёкся. Чуть было не забыл, что мы как бы условились, что не станем говорить обо мне, вообще не будем касаться всего, что было «после». Я не мог себе представить, что все беды будут мгновенно забыты. Мне хотелось сказать о злобной радости, которая воцарилась в лагере, когда гробовой голос Левитана провещал эти слова: *потерял сознание*. И все поняли, что он вот-вот околеет. Может быть, уже успел отдать концы, раз они там решились хоть что-то сообщить. И эту радость не могла унять даже боязнь стукачей. Мне хотелось рассказать, как я не верил своим ушам, узнав (гораздо позже) о том, что всенародная скорбь не была выдумкой пропаганды, что даже сотни задавленных в толпе, которая рвалась отдать последний долг каннибалу, не помешали горевать о нём. Я взялся за уголок пирога, который распался в руке. Хозяйка серебряной лопаточкой помогла переложить пирог мне на тарелку. Я рассыпался в похвалах её искусству.

«А почему это вас так интересует?» – спросила она, и это «вас» вновь развело нас в разные стороны.

В самом деле, что за тема для разговора.

Мы заговорили о старых знакомых. А что стало с таким-то, с такой-то.

Она спохватилась:

«Господи, что же я. Вы же принесли...»

Странным образом поиски штопора внесли какую-то нервность в нашу грустно-умиротворённую встречу.

«Слушай-ка... – пробормотал я. (Мы все-таки перешли на ты). – Что произошло с Пожарским?»

Она молчала. Я разлил вино по стаканам. Ира сделала глоток и поставила рюмку на стол.

«Марик исчез, – сказала она. – Я думаю, его давно уже нет в живых».

Хотя я довольно точно представлял себе его судьбу, мне хотелось узнать подробности; я приготовился слушать.

«Тогда многие исчезали, исчез Москаленко, если ты его помнишь: он читал лекции по марксизму-ленинизму. Кокиев – Древний Египет... Ну, и, конечно, Сергей Иванович, это ведь было при тебе?»

«Нет, – сказал приезжий. – После».

«Потом была ещё какая-то история на философском, целая группа студентов. Разные слухи ходили. Я уже не помню. Меня тогда всё это не очень-то интересовало, у меня были другие заботы...»

А сейчас? – хотел я ее перебить, – интересны ли ей сейчас эти воспоминания? И тотчас понял по ее взгляду, что она угадала мои мысли, и уже незачем было объяснять, что заботы или что там она имела в виду – роман с будущим мужем, что-нибудь в этом роде, – что все это было и сплыло. А университет, лестница, гипсовые велика-

ны, балюстрада, и сидение на подоконниках в коридоре, и Александровский сад, и юность – остались, и не было ничего важнее в нашей жизни.

Странные мысли приходят в голову. Я смотрел на нее и думал: дважды вдова. Конечно, я не думал об ее муже, о котором вообще ничего не знаю.

Можно ли быть вдовой мужчин, за которыми ты не была замужем?

Она продолжала:

«Марик... как тебе сказать. Я думаю, он был предназначен для этого. Иногда просто лез на рожон... Не эта история, так другая, рано или поздно. И даже если бы ничего такого не случилось. Я думаю, у него была такая судьба. Ты веришь в судьбу? Это был последний день, когда я его видела. Накануне у нас был один разговор... В общем, я ни о чём не подозревала. Я сидела на балконе, на нашем любимом месте, он тоже сидел на балконе».

Я спросил, что там было написано.

«Какая-то чепуха, не знаю. Я только видела, как всё это разлетелось, многие задирали головы, а он стоял наверху и смотрел. Все его, конечно, видели».

«Это были стихи?»

Она помотала головой.

«И что же?»

«Ничего, на этом всё кончилось».

То есть как, спросил гость.

«А вот так: кончилось, и все. Из Комаудитории всех выгнали. И сам он – я даже не заметила, куда он делся. Просто ушёл. Всё это быстренько убрали. Перерыв, правда, немного затянулся, но потом все снова уселись, лекция продолжалась. Все делали вид, что ничего не произошло. И вообще об этой истории больше никто не упоминал, ни единым словом. Все понимали, чем это пахнет... Потом уже, когда меня вызывали, я узнала, куда пропал Пожарский. А так о нём тоже никто не вспоминал, как будто его и не было».

Вызывали, зачем.

«Не только меня одну, хотя все, конечно, скрывали... Давали подписку о неразглашении. Я ужасно боялась. Спрашивали, знаю ли я такого-то, – конечно, знаю, – какие высказывания слышала от него. Даже спросили, вроде бы в шутку, не собирался ли он убить кого-нибудь из руководителей партии. Я прикинулась дурочкой».

Она посмотрела в трюмо.

«А в общем... – пробормотала она. – В общем-то какое это имело значение. Кто туда попадал, тот не возвращался».

Гость сказал: а стихи, куда они делись?

«Какие стихи? А, ну да. Не знаю...»

В следующий мой приход я спросил Ирину Самсоновну: зачем он это сделал?

«Зачем... Я тоже задаю себе этот вопрос. Что-то кому-то хотел доказать. Мне даже казалось вначале, что я была причиной... в какой-то мере. Мне так казалось».

Я снова спросил, и она ответила:

«Это был не то чтобы юношеский роман, а что-то вроде *amitié amoureuse*<sup>1</sup>. То есть с его стороны, конечно, что-то большее, а я? Сама не пойму, как я к нему относилась. Скорее всего не принимала его всерьёз. Но с другой стороны... Мы все жили в каком-то тумане...»

Она снова отвела взгляд, но не себя, а их увидела в тёмном стекле.

«Что я могу сказать? Вечером накануне того дня, да, это было как раз накануне, я пришла заниматься в библиотеку, даже раньше обычного. Я была уверена, что встречу его... Университет был как родной дом, мы там целыми днями околачивались, хотя

---

<sup>1</sup> влюблённой дружбы (фр.).

у меня были и другие обязанности... И вот, – она вздохнула, – когда я его увидела, я решила ему всё рассказать. Меня всегда забавляло, что они оба вечно пикировались в моём присутствии. Марик – ещё понятно, но Иванов... Вообще мы все трое были неразлучны. И я подумала, что у меня от Пожарского не должно быть тайн. Тем более такой тайны. Это было бы нечестно.

Но тут было ещё кое-что, и, конечно, так, как я всё это изобразила, мне не надо было делать. Не надо было ему так говорить. А с другой стороны, рассказать всю правду тоже было невозможно. Короче говоря, была у меня потом такая мысль: что это я виновата в его гибели. Он же всё-таки понимал, чем грозит ему эта выходка».

Не обязательно, заметил гость.

«Нет, я думаю, понимал. Все мы были наивны, и он тоже, даже ещё больше, но не настолько же. По-моему, это было сделано сознательно. Дескать, раз так, то я вам всем и отомщу. Я вам всем покажу».

Помолчав, она добавила:

«Я вообще не понимаю, как это он раньше не попал. Университет кишел осведомителями. Это же был комсомольский долг – докладывать; не правда ли?»

Считает ли она и сейчас себя виноватой?

Она пожала плечами, покачала головой.

«Нет, это была последняя капля. Это как-то копилось. – Сделав короткую паузу: – Это была судьба. Ему на роду было написано плохо кончить».

В этом государстве?

«Не знаю. Может, и не только в этом. Ты думаешь, – спросила она, – всё дело в этом государстве?»

По крайней мере, отчасти, ответил я.

«Вот именно, что отчасти. Это был такой характер. Я думаю, – прибавила Ира, – его добило то, что я сказала ему...»

На этот раз не было пирога, лежали на тарелке какие-то печенья, дочь приходила и снова уходила, нужно было преодолеть ещё один барьер, не выпить ли нам чего-нибудь покрепче? Она поставила. Мы чокнулись. «За что?» – спросила она. Выпьем, сказал я, за... и не решился договорить; она кивнула; я спросил: знает ли она, где воевал Иванов?

«Он никогда об этом не рассказывал. Он вообще не любил говорить о войне. Как-то раз Марик заявил, это я хорошо помню, – что мы будто бы принесли новое рабство вместо прежнего. Кто это – мы? Марик сказал: Советская Армия. Представляешь себе, это он говорит фронтовику. Кому же это мы принесли рабство? – Восточноевропейским народам. – Юра взбеленился и сказал, что он таких разговоров не потерпит. По-моему, это был единственный раз, когда зашёл разговор о войне. Но ведь все фронтовики не любят военных воспоминаний. Особенно, когда...»

Когда что?

«Когда ты вернулся калекой».

Я спросил Ирину Самсоновну, известно ли ей, что к Иванову приезжали две немки.

«Нет... то есть да. Я их видела».

Рассказывал ли Иванов, спросил я, что-нибудь о них, об этом разговоре.

Она покачала головой.

«Эта девица хотела, чтобы Юра на ней женился. Хотела его увезти».

Я удивился: «Откуда ты это взяла?»

«Ниоткуда. Знаю».

«Он сам тебе об этом говорил?»

«Никто не говорил».

Я возразил, что мне об этом ничего не известно, но браки с иностранцами, кажется, ещё в сорок шестом году были запрещены.

«Были, ну и что. У этой бабы были связи».

«Слушай-ка, – проговорил я и налил снова. – Раз уж зашёл разговор... Я хочу тебя спросить. Ты его любила?»

«Юру?»

Я кивнул. Она ответила:

«Я его жалела».

«Почему он это сделал?»

Она опрокинула рюмку в рот. Взяла что-то с тарелки, но, не откусив, положила обратно.

«Почему», – кивнула своим мыслям

После некоторого молчания:

«Не знаю».

Гость ждал продолжения, наконец, она сказала:

«Я и на похоронах не была. Потом как-то позвонила его матери, мы встретились. Она мне рассказывала... Когда она пришла с работы, он лежал весь в крови. Перерезал себе горло этой штукой».

«Оставил что-нибудь, какую-нибудь записку?»

«Вроде бы нет».

Давно уже стемнело, мы сидели и не обратили внимания на то, что беззвучно открылась дверь.

**Я хотел** сказать Ирине, что приехал «собирать материал», но теперь мне ничего не нужно, никаких романов я писать не буду. Тем не менее отворилась дверь. Мы даже не слышали, как она открылась.

В сумерках, в чёрном фраке вошёл скрипач. Он был в тёмных очках, с плоским лицом и прилизанными волосами. Музыкант поднял смычок, мы услышали шлягер сороковых годов. Вошёл двоюродный брат Марика Пожарского Владислав, с бритыми лиловыми щеками, в лазоревом пиджаке и с розой в петлице. Вошёл призрак Иванова, с палкой, в морском кителе.

Я взглянул на Иру, она пожала плечами, как бы говоря: ну и что?

Ничего.

«Извини, я хочу тебя ещё спросить, – начал я. У меня мелькнула догадка. И, кажется, она понимала это. – Ты можешь не отвечать, если тебе неприятно...»

«Спрашивай».

«Ты сказала, всю правду рассказать было невозможно... Значит, ты что-то скрыла от Пожарского? Что ты имела в виду?»

Она молчала, разглаживала рукой скатерть.

«Может, зажечь свет?» – сказала она.

Увидев на губах у меня застывший вопрос, она снова пожала плечами, как будто хотела возразить: нет, отчего же; могу сказать.

«У малышки была высокая температура, мы повезли её в Филатовскую больницу. Там признали корь...»

«Твоя племянница?»

«Да. Только я успела вернуться, он позвонил. Спрашиваю, в чём дело. Надо поговорить. Завтра? – говорю. Нет, сейчас, немедленно. Приезжаю в университет. Так и есть: мой Юра вдребезги пьян. По телефону ещё туда-сюда, а теперь совсем лыка не вяжет. Что делать, я вызвала такси. В те времена это была для нас немыслимая рос-

кошь, но таксист выключил счётчик, не хотел брать денег с фронтовика. Кое-как мы его втащили, он жил с матерью, в двух разных комнатах. Ты у него бывал?»

«Мы вообще не были знакомы».

«Я тоже в квартире никогда не была. Комнаты были в разных концах коридора. Его мама уговорила меня остаться ночевать в своей комнате, а сама легла на кухне. Утром я не слышала, как она ушла, просыпаюсь – никого нет».

«Он позвонил тебе вечером, хотел поговорить. О чём?»

«Не знаю. Я же говорю, он был пьян. В общем, я решила взглянуть, как он там. Соседей не слышно, то ли спят, то ли ушли все на работу. Открываю потихоньку дверь и вижу, что он не спит, лежит, заложив руки под голову, и смотрит так, как будто никогда меня не видел. А я и в самом деле. Стою в чужой рубашке, босиком, мать Юры высокая, я поменьше, рубашка чуть не пола».

Словом, я увидела, что он проспался, хотела уйти. Что-то меня удержало – на одну, может быть, лишнюю минутку, и, мне кажется, он это заметил. Он спросил, читала ли я Бедье: историю Тристана и Изольды. Мне стало страшно».

«Минутку, – сказал гость, – о чём речь?»

Опять-таки можно было догадаться. *И меч лежал между ними.* Только у Бедье, сказал я, этого нет, это исландская сага.

«Ну, значит, он спутал».

«И что же?»

«Мне потом его мама рассказывала... отец привёз из Китая».

«Well, – сказал гость. – Что дальше?»

«Ничего: я подошла к столу, взяла меч двумя руками, за рукоятку и лезвие, он был довольно-таки тяжёлый. В углу у окна стоял протез. Я положила меч на постель, Юра подвинулся. Ложись, сказал он. Ложись рядом, ничего не будет. Там говорится ещё о любовном напитке. Любовный или не любовный, но я тоже была как будто опо-ена. Ничего не соображала. Я только знала, что если я уйду, это будет для него таким ударом, что...»

«А ты сама – хотела?»

«Да. Я этого хотела. Я, может быть, даже знала, что это произойдёт. Ещё когда шла по коридору. Нет, ещё до этого. Мы в то время... ну, что говорить. Ты меня спрашивал, был ли у меня кто-нибудь до этого».

Я изобразил удивлённую мину.

«Ну, хотел спросить. Никого, конечно, не было. Но теперь я знала, что это произойдет. Я поняла, что эта сама судьба так устроила, чтобы мы остались вдвоём. Что мать Юры нарочно оставила меня ночевать и ушла пораньше. И я почувствовала, как бы это объяснить... почувствовала, что должна сбросить с себя это бремя девичества, вот и всё. Всё моё тело взбунтовалось, я хотела стать женщиной. И ещё... – Она опустила глаза, её ладони разглаживали скатерть. – Мне было так жаль его. Эта бабья жалость... сама по себе была уже чувством женщины, а не девчонки, когда просыпается жалость, это значит, что ты становишься женщиной... Даже не жалость, а сострадание. Оно было для меня оправданием, что ли, перед самой собой. Но мне и не надо было оправдываться. Я просто взяла и сбросила эту штуку на пол, этот дурацкий меч, легла и почувствовала его руку на себе. Холодную, как лёд. И весь он был холодный. Мы оба замёрзли. Я повернулась к нему, стала его целовать. Но он почему-то медлил. И я шепнула ему...»

Приезжий хотел спросить: что шепнула?

«Не знаю. Что-то такое я ему сказала на ухо. Дескать, всё будет хорошо, давай... И он как будто очнулся, повернулся ко мне и положил свою культю мне на бедро. Я ужасно обрадовалась. Меня охватило нетерпение... Я, конечно, была совершенно не-

опытна, а он взрослый мужчина, хоть и старше всего на несколько лет; я думала, он возьмёт на себя инициативу. Даже крикнула на него. Ну и, в общем... что говорить».

«Ничего не получилось?»

Она покачала головой.

На другой день рано утром я улетел в Соединённые Штаты.

## *Послесловие автора*

Если правда, что история есть не столько совершившееся на самом деле, сколько написанное о нём – на восковых табличках, на папирусе, на бумаге, – то история человеческой жизни начинается после того, как некто вознамерился о ней рассказать. Кладбища – это библиотеки ненаписанных романов.

Среди многочисленных функций романа мы должны выделить одну, может быть, главную: роман реабилитирует человека. Роман убеждает – в век неслыханного умаления человека, – что нет ничего более ценного, чем личность, и ничего более интересного. То, чему не научила гуманистическая философия, чего не сумела внушить религия, выполняет роман, последнее прибежище человечности.

Сочинитель сидит в номере гостиницы перед молочно-светящимся экраном, отводит взгляд – за окном узкий, глубокий колодец двора. В коридоре тишина. Кажется, ты один на всём этаже, во всём доме. Два чувства: первое – обыкновенное, привычное ощущение тупика; как будто готовишься, поплевав на ладони, долбить ломом каменную стену. Второе... о нём говорить труднее. Россия, которая настигает везде, как наваждение.

Итак, о чём, собственно, мы собирались поведать? Иногда кажется небесполезной попытка восстановить историю книги. (Такие вещи уже делались). Два обстоятельства, или два образа, послужили первым толчком. Во-первых, это был парень, бывший фронтовик, которого я увидел на первом курсе, через несколько дней после начала занятий, в первую послевоенную осень, в прекрасном сентябре. Он был рыжеволос, строен, тщательно, даже шикарно для того времени одет в новый, тёмный в полосу костюм. Он был в галстуке и в пенсне, – кто тогда носил пенсне? Трость с набалдашником в правой руке. Ходил прихрамывая, по-видимому, на протезе.

Вероятно, он был не намного старше меня – мне исполнилось семнадцать, ему могло быть 22, от силы 24 года, но между нами было огромное расстояние, была война, мы принадлежали к разным поколениям. Только теперь, когда будущее, манившее нас, давно стало прошедшим, я могу понять, какого душевного мужества, какой выдержки стоила ему поза денди, цедившего слова, менторски-снисходительный тон и эти стёклышки, сквозь которые он взирал на нас, юнцов, – меня и моего товарища. Почему-то он удостаивал нас вниманием, издали спешил навстречу, припадая на ногу; мы тяготились его дружбой.

Этого человека (надеюсь, он ещё жив) я позднее уже никогда не видел, летучее знакомство растворилось в обилии новых впечатлений и дружб, вдобавок мы учились на разных отделениях. Я придумал ему военно-морское прошлое – и это была история, которая стала вторым отправным пунктом.

Автор узнал о ней из случайно увиденного немецкого документального фильма, в котором участвовали бывшие моряки, члены экипажа советской подводной лодки «С-13». Командир лодки, тридцатидвухлетний капитан 3 ранга Александр Иванович Маринеско, отец которого был румыном, после окончания Одесского высшего мореходного училища стал штурманом и капитаном торгового флота, а затем военным моряком-подводником. Он был хорошо известен на флоте, прославился как герой, был любимцем женщин, много пил, не ладил с начальством. После войны окончательно впал в немилость и умер в нищете и неизвестности. История, о которой идёт речь, произошла вблизи Данцигской бухты, в ста километрах

от побережья Померании: лодка «С-13», получившая приказ занять боевую позицию в южной части Балтийского моря, где ожидалось появление немецких транспортов, выследила и потопила большой шестипалубный пассажирский корабль «Вильгельм Густлофф» с беженцами из отрезанной Восточной Пруссии.

Описывать войну, никогда не быв на войне (автора должны были призвать осенью 45-го, если бы война продолжалась), – дело по меньшей мере рискованное. В своё оправдание могу сказать, что я ограничился поначалу одним абзацем. Юрий перекочевал в роман, сохранив своё имя и внешность. Он стал у меня моряком подлодки «С-13», вахтенным офицером, который первым увидел огни вражеского корабля и был выловлен из ледяной воды после того, как лодку настигли глубинные бомбы немецкого эскадренного миноносца «Лев».

Ради этого пролога – и воспоминаний, которые преследуют Иванова, – мне пришлось проштудировать довольно обширную литературу. Я снабдился справочниками и атласами военно-морского флота разных стран в годы Второй мировой войны, собрал сведения о моторном лайнере «Густлофф», прочёл воспоминания рулевого-сигнальщика Г.Зеленцова, участника подводной атаки (умершего через полвека, в 1998 г.), разглядывал карты и фотографии. Мне помог также документальный роман Л.-Г. Бухгейма «Das Boot» («Лодка»), по которому сделан известный фильм. Познакомился я и с другим романом, правда, вышедшим уже после того, как моё сочинение было готово, – «Im Krebsgang» нобелевского лауреата и довольно вульгарного писателя Гюнтера Грасса, где описана вся история корабля «Густлофф» от схождения с гамбургских стапелей в 1936 г. до гибели в Балтийском море. (Русский перевод, под искажающим смысл оригинала названием «Траектория краба», появился в журнале «Иностранная литература»).

Мне нужно было получить реальное, до мелочей, представление о том, что происходило в открытом море в снежную январскую ночь 1945 года.

Утром в каютах и рубках, в помещениях для раненых и родильниц, на всех палубах, где теснились полузамёрзшие пассажиры (в день катастрофы температура воздуха была минус 18 градусов, ветер до семи баллов), радио транслировало речь Гитлера: «Сегодня, двенадцать лет тому назад, в исторический день 30 января 1933 года, провидение вручило мне судьбу германского народа».

Посадка происходила накануне, толпы беженцев запрудили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из освобождённой от льда акватории порта. С маршрутом не все ясно, по одним сведениям, «Густлофф» направлялся в Свиномюнде, по другим – пунктами назначения были Киль или Фленсбург. В открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан корабля Петерсен (он был спасён) распорядился не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. С этой стороны «Густлофф» и был замечен. По некоторым сообщениям, капитан Маринеско, прежде чем атаковать, совершил обходный манёвр и зашёл с левой, береговой стороны; в воспоминаниях Зеленцова (и в моём романе) об этом не говорится. Последний из трёх выпущенных снарядов разрушил машинное отделение корабля, электричество погасло, и всё остальное происходило впотьмах.

Я почувствовал, что война с Германией вновь преследует меня, хотя кажется – что мне в этом прошлом, которое пронеслось стороной, совпало со временем отрочества, погружённого в собственный сон? Уехав (сорок лет спустя) из России, поселившись в той самой стране, которая тогда, на рассвете самого длинного дня 1941 года, двинулась всей громадой трёхмиллионного войска на Советский Союз, я научился читать летопись этой войны не одним, а двумя глазами, видеть войну не совсем так, как её видят в России. Моё понимание войны было пониманием человека, живущего полвека спустя, человека, который вступает на пепелище, успевшее зарости травой. Я всегда думал, что никто так плохо не разбирается в эпохе, как тот, кто в ней живёт; мы, конечно, не умней и не проникательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. Как бы то ни было, оглядка на военное прошлое, с какой приступил я к сочинению своего романа, по необходимости отличалась от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан; стереотип этот, по-видимому, незыблем по сей день.

Нелишне вспомнить о том, что, не будь нашествие остановлено, я и мне подобные были бы сожжены в печах. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, если бы не удалось

победить, – а ведь дважды, в ноябре сорок первого и в августе сорок второго, всё висело на волоске. Тот, кто пережил 9 мая 1945 года в Москве, кто помнит эти счастливые толпы, танцы на улицах, объятия, слёзы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что всё страшное позади, всё прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, всё ещё стоит перед глазами, – будет, наверное, возмущён или по меньшей мере удивлён, если я осмелюсь заявить, что победа обернулась поражением, досталась, как ни странно это звучит, ценой поражения, самого страшного, может быть, за всю одиннадцативековую историю нашей страны. Разгромлены оба противника; проиграли оба. Таков был слабо звучащий лейтмотив романа или, лучше сказать, его подспудная тема.

Я понял, что мой герой, мальчик-офицер, вернувшийся инвалидом, преследуемый, как кошмаром, воспоминанием о гибели женщин, детей, стариков и калек в бушующем снежном море, гибели, к которой он как-никак приложил руку, хотя никто не посмел бы его упрекнуть, – в конце концов он и сам едва не погиб, – что этот изобретённый моей фантазией Юра Иванов, так и не сумевший справиться с новой, мирной жизнью, есть в некотором смысле персонаж исторический. Мне стало ясно, что человек, которого война преследует не только буквально (сны, кошмары, напоминания, остеомиэлит культуры, наконец, визит спасшейся немки; сюда же – возможно – импотенция), но и в каком-то более общем смысле – война как отсроченная смерть, от которой он случайно ускользнул и которая в конце концов его настигает, – что человек этот олицетворяет катастрофу, которую называли победой.

С этого момента стало понятно, о чём мне нужно писать: о наследстве войны, о первых послевоенных годах, о юности этих лет на пороге ослепительного будущего, которое стало прошлым, так и не сбывшись. О холодном, словно из подземелья, северном, как сама Россия, дыхании, которым веяло от этого будущего.

Обозначилась и точка зрения повествовательной прозы, в данном случае – точка зрения невидимого рассказчика-хрониста, жившего вместе с героями и живущего сейчас: его наблюдательный пункт расположен «к северу от будущего». Я использовал для названия моего романа строчку Пауля Целана (самоубийство Целана, настигнутость прошлым перекликались с сюжетом, который мало-помалу стал проясняться) и у него же заимствовал эпиграф – короткое стихотворение из сборника «Atemwende» («Перемена дыхания»). Прозаический перевод, сделанный мною, конечно, не мог передать всю многозначность и прелесть маленького шедевра.

«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты загружаешь её тенями, что написали камни».

Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым, встретиться с тобой; туда забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю – даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.

«Тень», Schatten, одно из ключевых слов Целана, ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто говорит тенями, глаголет истину. Можно перевести иначе (памятуя о том, что Wahr-spruch – это вердикт): кто говорит тенями, выносит приговор.

И всё же война в этом сочинении есть лишь некое quo ante. Осенью Юрий Иванов собирается поступить в университет. Выяснилось, что он всё же не главный герой предстоящего повествования, вернее, не единственный. Есть ли там вообще «главный герой»? Придётся повторить фразу, ставшую банальной: главный герой – время. Но с тем же правом можно сказать: любовь – вот истинный герой рассказа.

Рассказ... я произношу это полузапрещённое слово. Сколько раз нам твердили, и твердили мы сами, что традиционный повествовательный принцип исчерпал себя. Реалистическое повествование скопрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция реальности. Мы живём в послероманную эпоху. И, однако, я возвращаюсь к рассказыванию историй; у меня было чувство, что иначе мне не справиться с задачей.

Рассказ движется сюжетностью (или порождён ею), а сюжет, по Лотману, есть «революционный элемент» по отношению к картине мира. Рассказ в моём понимании подразумевает бедность фабулы, возмещённую богатством сюжета, переплетением мотивов, этих несущих конструкций повествования.

Другое дело – отказ от той непосредственности, которую Эрих Ауэрбах («Мимесис») считал отличительной чертой русской литературы, – непосредственности, порождающей особую запретительную поэтику: никаких комментариев «от автора», покажите нам людей и обстоятельства, а не рассуждайте о них, философствовать – не дело художника.

Я понимаю, что рефлексия повествователя, замечания о войне, о времени, о неумении молодых людей найти себя и пр., как и сугобо литературный, старомодно-иронический стиль этих размышлений, – всё это подвергает испытанию терпение читателя. И всё же мне кажется, что метаповествование как *pendant* к рассказу в собственном смысле, введение дополнительных точек зрения, присутствие рефлектирующей инстанции внутри самого рассказа в наше время так же естественны, как описания природы в романах XIX века. Фразу Камю «Хочешь быть философом, пиши романы» нужно перевернуть: «Хочешь писать роман – будь философом».

Мне хотелось подвести некоторый итог; всякий роман есть итог; я вернулся к юности, самому важному (после детства) времени жизни, с тем чтобы в эпилоге приземлиться вместе с рассказчиком в машине времени на Шереметьевском аэродроме – в сегодняшней Москве.

Подвести итог, что это значит? В XIX веке говорили об отчуждении человека-производителя от производства. Болезнью только что минувшего века я назвал бы отчуждение человека от Истории. Историческое сознание износилось. Оно перестало быть путеводной звездой. Идея великой цели скомпрометировала себя, надломилась иудейская стрела, указующая вперёд, к Царству Божию на земле. Стала очевидной абсолютная несовместимость Истории, Политики, Нации, государственных приоритетов, национальных амбиций, всех этих зловещих фантомов, обесценивших личность, обесмысливших культуру и мораль, – с заботами и надеждами человека, с реальной жизнью людей, над которой эти демоны обрели неограниченную власть.

С исторической точки зрения жизнь людей стала чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только она и является подлинной жизнью. Жить в Истории невыносимо, вне Истории – невозможно.

Но в романе констатация несовместимости двух времён, исторического и человеческого, меня больше не удовлетворяла. Я по-прежнему представлял себе Историю как нечто бесчеловечное, абсолютно лишённое того, что некогда называли историческим разумом. Требовалось, однако, соединить несоединимое – увидеть, проследить, каким образом человек реагирует на всеобъемлющее насилие. Материалом для этого представлялось мне время юности.

В те времена у нас устраивались балы. Внизу и на втором этаже, куда вела парадная лестница, вдоль колонн и балясин знаменитой балюстрады аудиторного корпуса на Моховой, под гром духовых оркестров, топтались, качались, крутились пары, и автор был усердным посетителем этих празднеств. Если в качестве исходного образца для Юры Иванова, – правда, только исходного, – передо мной сквозь дымку воспоминаний маячил настоящий Ю.И. (никогда на эти балы не ходивший), то второй персонаж, Марик Пожарский, восходит к нескольким прототипам; один из них – мой закадычный друг студенческих лет, арестованный, как и я, на последнем курсе, но получивший срок поменьше, а впоследствии ставший известным поэтом-переводчиком. Его оригинальные стихи приписаны Марику Пожарскому. И, наконец, третье лицо треугольника: девушка 18 лет, чем-то напоминающая одну реально существовавшую студентку. Во второй главе, которая называется «Танец», на балу, она учит инвалида фигурам танго.

И раз уж зашла речь о прототипах, можно добавить, что профессор Данцигер имеет некоторые черты сходства с покойным Сергеем Ивановичем Радцигом, заведующим кафедрой классической филологии. Я сделал Данцигера германистом, молодых людей – студентами западного, или романо-германского, отделения. Биография и отчасти внешность его брата могут напомнить о Фёдоре Августовиче Степуне, русском философе, предки которого были выходцами из Восточной Пруссии. Правда, Степун, изгнанный из Советской России в 1922 г., никогда не возвращался.

История, похожая на разоблачение Игоря Былинкина, произошла с известным всему курсу активистом-общественником Б.: он тоже считался бывшим партизаном. Кажется, ему разрешили после крушения заочно окончить университет, он стал доктором наук; его уже нет в живых. Но любовная история в эвакуации, прибытие в университет родственников соблазненной девицы и т.д., а также возвращение Былинкина в Агрыз придуманы.

Дела давно минувших дней, прошлогодний снег... Воспоминания – сырьё, которое должно быть переработано. Отсюда следует, что если автор обращается к тому, что «было», получается не совсем то, что было. Живое, интимное чувство ушедшей жизни, то, что всегда и везде питало литературу, может ли оно быть всеобщим достоянием? Химический процесс, торжественно именуемый творчеством, денатурирует действительность; самое понятие действительности становится для романиста сомнительным. Реальными, однако, остались «декорации». Два старых здания, разделённых бывшей улицей Герцена, они и для меня когда-то были родным домом.

Гораздо больше, чем «нормальные» члены общества, романиста занимают маргиналы, те, кого ещё не расплющил штамповочный пресс. Существенно важный мотив романа связан всё с тем же насилием Истории, точнее, с репрессивным обществом, куда вступили эти юнцы. То, что составляет реальное содержание их жизни, любовь, этот островок индивидуальной свободы, на котором юноша и девушка всецело располагают собой, чувствуют себя самими собой, – внутреннее изгнание, куда, сами того не сознавая, они уходят, чтобы отстоять себя, – оказывается западнёй, которую готовит им общество, изначально враждебное и карающее всякую независимость.

Каждый из них заново и на свой лад постигает роковую для подростка, переступающего порог юности, истину связи любви с сексом.

Между тем есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе: секс есть вторая крамола. В этом обществе нравственность носит полицейские черты. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым дышат, входит в плоть и кровь, – так воспитываются стыд и скованность, становятся нормой поведения трусость и ханжество, какого не знало буржуазное общество. Идиотический этикет, казалось бы, дикий и невозможный на фоне бедности и плебейства. Пуританские нравы, оборотная сторона подпольного разврата. Какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговорённостей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, неназываемых предметов. Всё это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода. Носителями этой свободы-несвободы становятся мои герои: это роман о невозможности любви.

Я пытался передать то особое чувство, знакомое каждому молодому человеку, каждой девушке: почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное, нечто постыдное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует – совершенно так же, как не существует тайной полиции, доносительства, всеобщего страха и всенародной нищеты.

В этой ситуации находится Марик Пожарский, робкий бунтарь. Скованный и немой, что он придумывает? То, что придумывали влюблённые всех веков: объяснить письменно – написать письмо. Бумаге можно доверить то, что не может быть сказано вслух. В письме можно стать отважным, дерзким, письмо освобождает из плена трусости, неуверенности, стыда, другими словами, отчуждает пишущего от его собственной природы. И в то же время артикулирует его подлинные, его тайные надежды, мысли и чувства.

Но так как письмо есть не что иное как высказанное *вожделение*, оно (как говорит Ролан Барт) имплицитно обязывает к ответу. К какому ответу? Не к письменному, разумеется. Она должна будет дать понять, что письмо получено, сигнал принят. Как она это сделает? Прямо (навряд ли) или намёком? Проявит ли благосклонность? Может быть, посмеётся. Как бы то ни было, любовное письмо – это целое приключение. Увы, Марик не решается и на этот шаг.

Вместе с тем он совершает важное открытие. Это открытие нового измерения мира – эротизма. Первичная физиологическая сексуальность преобразуется в безбрежную эротику. Мир оказывается для Марика, начинающего поэта, несравненно богаче, нежели для какого-нибудь Владислава, который (по-видимому) уже усвоил навыки секса, технику обладания женщиной как сексуальной партнёршей. Марик погружён в неутолённое желание – это ситуация художника. Его «объект» всегда прикрыт, прикровенен (он не может представить себе Иру раздетой), это «неразгаданная тайна» Тютчева. Но Марик сам, не сознавая этого, противится разгадке: она уничтожила бы любовь, низвела бы её на уровень секса. Безвыходность усугубляется ложным сообщением о том, что Ира принадлежала другому, – разочарование, сопоставимое с разочарованием в коммунизме и, далее, с метафизическим разочарованием,

«болезнью расколотого зеркала», – и заканчивается бунтом, поступком, который Ира (и, очевидно, все окружающие) воспринимают как бессмысленный. На самом деле это не что иное, как мальчишеский вызов абсурдному миру.

Юношеская любовь не просто безвыходна; она движется к катастрофе. Рано или поздно эротическое поле должно было вступить в противоречие с другим электромагнитным полем. Если бы объявился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физической, поисками которой занимался Эйнштейн), он пришёл бы к выводу, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но единого поля не было. Психологическое «поле» Вождя исключало присутствие каких-либо конкурирующих воздействий. Поле, которое вот-вот прорвётся искровым разрядом в душном зале кинотеатра на Арбатской площади, где идёт демонстрация эпохального фильма «Клятва», истерическое поклонение Вождю-Вседержителю, как и повсеместное присутствие каннибала, – этот психологический климат, это поле не было метафорой, заимствованной из области, о которой автор в общем-то имеет смутное представление. Надо было жить в то время, чтобы почувствовать его реальность. И надо было сызнова вспомнить, как жестоко насмеялась жизнь над всеми нами. Вот отчего и эта тема вплелась в роман.

И вот теперь, когда я сидел в комнате на четвёртом этаже маленькой гостиницы на Монмартре и вперялся в молочный экран, всё как-то схватилось – так схватывается майонез после долгого перемешиванья, и составные части больше не расслаиваются. Образы и музыкальные мотивы сцепились в некое целое – девушка и два парня, томление и неразрешимость, незваная гостья из-за рубежа, выжившая назло всему, и оставшийся в живых юноша-инвалид, один из тех, кто пустил ко дну корабль с беженцами, профессор-конформист и его брат – мистический патриот, которого в конце концов пожрало любезное отечество, и раздетый в пух и прах, фат и трус Владислав, и Вождь за зубцами Кремля, и разрушенный жизнью, всё ещё воспевающий великую эпоху поэт в доме творчества государственных литераторов под Москвой, и какой-то там аспирант N, и стукач Геннадий. И гениальный романтик Новалис, и девочка Софи фон Кюн, и стихи Марика Пожарского, и его танец в студенческом клубе с двадцатилетней камелией, и меч, лежащий, как меч легендарных любовников, как роковая преграда, между Ирой и Юрой, «лезвием ко мне». И весь огромный мир, который встал перед автором за этими людьми-знаками, домами-знаками, башнями-знаками, и юность, и Германия, и Москва. И вот этот морок рассеялся, сочинение – перед вами.

2003